

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ЭССЕИСТИКА

lulu

Наум
ВАЙМАН

ШКВАЛЬНЫЙ
ВЕТЕР ИЗ РАЯ

Berlin
2026

УДК 821.161.1'06(430)-31
В 140

*В оформлении обложки
использована репродукция картины
немецкого художника-романтика
Каспара Давида Фридриха
«Странник над морем тумана» (1818)
(Der Wanderer über dem Nebelmeer)*

Вайман Н.

В 140 Шквальный ветер из рая / Наум Вайман — Lulu, Berlin,
2026 — 136 с.

ISBN 978-1-291-98956-4

«Шквальный ветер из рая» — новая и очень своеобразная книга автора знаменитой эпопеи «Ханаанские хроники», а также известных исследований творчества Мандельштама. В этом интеллектуальном романе-эссе, разворачивается, путем взаимной переписки, настоящий психоанализ русской истории с широким привлечением литературных и публицистических текстов крупнейших русских писателей, историков, мыслителей и общественных деятелей. Автор соединяет интимность писем, остроту публицистики и масштаб философского исследования, превращая каждое письмо в самостоятельный эпизод духовного поиска, разговор идет живой, откровенный и порой болезненный, о том, что, прячась от своего прошлого, невозможно понять историю и себя.

УДК 821.161.1'06(430)-31



© Вайман Н., 2026
© Lulu, 2026

Тысячелет

Россия есть
Великий ковчег,
плывущий по морю отчаяния.

Потомкам
надлежит разгадать
тайну сего пристрастия к горю.

Огибая
греческий берег
бормоча небесам невеселую песню,
загорелый
матрос крикнет
туземцам на берегу:
(«Кто ты, путник? Откуда ты?»)
Я моряк,
Красивый сам собою...
Михаил Файнерман, июнь 1988

В условиях угнетения память о прошлом
может стать одной из форм сопротивления.
Ян Ассман, «Культурная память»

Письмо первое

Привет, дорогая, ты меня обрадовала неожиданным письмом, хотя повод и печальный: люди уходят. Конечно, я Марка прекрасно помню, и наше первое свидание втроем в баре для иностранцев гостиницы «Москва», на девятом, кажется, этаже, и то, что он все время крутился «третьим», а я не мог понять, зачем тебе эти петушинные бои, и кто тут «третий», и вообще раздражала твоя нерешительность в выборе, тогда многие за тобой увивались, причем все женатые, и все евреи, и это было подозрительно. Шутка. Может, поэтому ты и вышла за «простого славянского парня»,

решила удрать от нашего племени? В принципе, правильное решение, хотя конкретное исполнение оказалось неудачным. Я и сам сильно не любил эту жалкую, а местами подловатую поросль — советских евреев, всей душой и всем сердцем не любил, а их фронду считал трусливой, и Марк был как раз из фрондеров, даже давал мне всякие «самиздаты»: прозрачно-тонкие листочки со стихами Бродского, «Приглашение на казнь» Набокова — не в коня корм: Бродский меня не тронул, Набокова я не осилил, и вообще-то был в те блаженные времена нормальным дурнем по части культурки. К тому же, мысленно, уже «отдал швартовы». А когда через дюжину лет, пошли мои головокружительно лихие налеты на Москву, и ты, все также нерешительно, от меня отбивалась, Марк, к моему удивлению, все еще был «в поле зрения», заделался православным экскурсоводом и возил по матушке Руси дам среднего возраста. И нашу тогда (опять «втроем») поездку в Боровск я хорошо помню. И споры об истории. Вот раньше было какое-то ощущение общей истории, даже если живешь в разных странах, а теперь материки поплыли, сдвинулись, как говорят, тектонические плиты, и такое ощущение, что мы как будто на разъезжающихся платформах, разбегаемся как галактики в разные стороны, и общего прошлого уже не собрать. Да и незачем. И сама жизнь уже на атомы рассыпается. Как у любимого поэта:

Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг...

Но не будем поддаваться, будем строить храм памяти из слов, они — продолжение жизни, ее выделения, щу-

пальца, жизнь, вообще, — сила великая, но, в конце концов, схлопывается как звезда в черную дыру. Стоп. Писатель застрочил. А ты, видать, и не боишься моей болтливости, если спрашиваешь, «как историка», «куда все летит». Вопрос — «в яблочко»: я как раз затеял тут «исторические заметки» про Крещение Руси и всякое такое, могли бы послужить продолжением спора с Марком, так что, если терпение есть, то — держись. Куда все летит, не скажу — чай не пророк Самуил, любимец Рабиндраната Тагора, но интересно — откуда, тут и свидетельства имеются, и можно поразмыслить, откуда есть пошла русская земля. А теперь еще эта война Москвы с Киевом, невольно возвращает к истоку, к сути России. Начало определяет путь. Или, как говорил Карл Краус, «в истоках скрыта цель» (цитирую Вальтера Бенямина, из его тезисов «О понимании истории»).

А в истоке варяги славян крестили. Владимир Святославич из Рюриковичей крестил Киевскую Русь в 988 году, и русская церковь стала филиалом православной константинопольской патриархии. Рюрика-варяга, как известно, позвали новгородцы в качестве наемника: город был большой, богатый, с демократическим уставом, связанный с ганзейским торговым миром, и Рюрик на образ жизни города не покушался (разрушили его русские цари через полтыщи лет), но, деньжонок поднакопив, захотел и свою власть иметь, для чего спустился вниз по Днепру («из варягов в греки») и стал княжить в Киеве, тут тебе и Византия близко, и хазары, место оказалось бойкое (такой перекресток: Европа-Степь-Византия), да и ребята-варяги были не промах: ходили с грабежами во все стороны, в общем, деньжата водились, княжество зацвело, но жить на перекрестке, на семи ветрах неудобно, особенно, если сам не особо могуч: небольшая скандинавская ОПГ, подмывавшая под себя окрестных славян, людей мирных, лес-

ных, а из лесов — не суйся, там Степь, то хазары, то болгары, то половцы — тюркское море, вот и живи, как на острове, отбивайся от грозных волн да ветров штормовых, хочется с какой-то сушей сомкнуться. И Крещение было выбором Византии, стало быть, и Европы, хоть и Восточной, всё покультурней, чем дикая Степь с ее необъятностью. Сам-то Владимир-Креститель был парень довольно мутный. Есть даже, и вполне реальная, версия о его еврейском происхождении, поскольку в Никоновской летописи, и в других, сказано: «Володимер бо бе от Малуше, ключницы Ольгиной. Сестра же бе Добрыне, отец же бе има Малк Любечанин». Русские историки встают на дыбы и фыркают с пеной на удилах: как, опять евреи, караул! А чего волноваться-то, перекресток он и есть перекресток, иудействующим хазарам славянские племена и князь киевский дань веками платили, а сам князь величался Каганом. Спор-то упирается в трактовку имени: «Малк» — имя никак не славянское, и уж тем боль не варяжское, зато вполне себе еврейское, от корня «мелех», царь, и Мелех, Мейлах — частые имена у евреев, как и у арабов Малик. Соответственно Малуша, если это искаженное Малка (на иврите «царица», тоже распространенное еврейское имя), то тут уж никуда не денешься. От себя добавлю, что еврейских влияний-веяний на ход дел в Киеве было немало, и «русы» (так источники величали варяжские дружины) с Хазарией уже несколько веков активно торговали и воевали, а на бойкое место шли и евреи с Юга и Запада, из Византии, с Балкан и Восточной Европы. В Киеве евреев было пруд пруди, целый квартал, разгромленный в 1113 году при Владимире Мономахе, что послужило началом изгнания евреев из Киевской Руси, поскольку, как пишет Татищев, «понеже их всюду в разных княжениях вошло, и населилось много». Была организована всенародная просьба «найти управу на жидов», кои «отняли все

промыслу у христиан, а при Святополке имели великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники разорились», что «построились домами междо христианы», а все это приводило к многочисленным переходам киевлян в иудаизм. Малка, напомним, была ключницей у Ольги, крестившейся матери Святослава, должность при дворе вроде завхоза, вполне себе еврейская. Так или иначе, влияние евреев было очевидным, и, возможно, каким-то образом действовало и на Владимира Крестителя, но это не отменило его языческого воспитания и обязанностей главы языческого государства и своей «дикой дивизии». Сев на киевский трон он первым делом обновил и разукрасил языческие капища идолов: Перуна («голова его серебряна, а ус золот»), Дажбога, Стрибога и т.д. При этом зверюга был и по тем временам отменная, отличался, как сообщает летопись «Повесть временных лет», «ненасытностью в блуде, приводя к себе замужних и растляя девиц», практиковал и человеческие жертвоприношения («И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам. И сказали старцы и бояре: «Бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет, того и зарежем в жертву богам»), невесту (якобы оскорбила его, обозвав сыном рабыни, а, может, «жидом»?) изнасиловал на глазах ее родителей, а потом убил ее отца и двух братьев и т.п.

Известно, что до крещения имел место кастинг, или «испытание вер»: в качестве альтернатив предлагались ислам, иудаизм и христианство (в любом случае выбор был между иудаизмом и его «дочками»). Выбор князя был судьбоносным, но скорее осознавался как геополитический, отчасти цивилизационный. Видимо, полагали, что это поспособствует здоровью и силе нового государственного образования. Оно уже тогда было довольно обширным, но ощущало себя «неоформленным» и искало «национальную идею».

Прот. Георгий Флоровский в своем фундаментальном труде «Пути русского богословия» пишет:

...древнерусская культура оставалась безгласной и точно немой. Русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве.

А ислам, иудаизм, православие и латинство, предлагавшиеся Руси на выбор, были состоявшимися цивилизациями с многовековой культурой, а кроме того, поддерживались серьезными на то время политическими силами: латинство — Священной римской империей (куда кроме государств германских, входили и славянские: Чехия, Моравия, Балканы), православие — Византийской империей, ислам — экспансией Халифата (в Киевской Руси контр-агентом ислама была Волжская Булгария), а иудаизм — некогда мощной, но к тому времени сильно ослабленной Хазарией.

Волжская Булгария, кстати, была любопытным образованием, тоже таким конгломератом племен, как Хазария и Русь, она, примерно в то же время (чуть раньше), приняла ислам от аббасидских халифов в Багдаде (халиф аль-Муктадир), и, конечно, по сравнению с роскошью Багдада или даже вассального халифу Хорезма, болгарский извод ислама был бедноват (булгары просили Халифа справиться им подобающую мечеть), но главное: Владимиру не понравился запрет алкоголя: «Руси веселие есть пити, не можем без того быти», поведала летопись его речь, а Ахмед ибн-Фадлан, отправленный послом в Булгарию в 922 году (он потом завернул к «русам» и оставил сочные заметки о быте последних — есть в Сети, могу кинуть ссылку), пишет, что русы пьют так, что иногда умирают с кубком в руках. А еще Владимиру не понравилось «обрезание удов» и запрет на «едение свиных мяс». И разведчики доложили, что мечети болгарские хилы, «нет веселия у них, но печаль и смрад велик». То ли дело храмы визан-

тийские, о них было доложено, что «такой красоты мы никогда раньше не видели, ввели нас греки в свой храм, и не знали, где мы: на земле или на небе».

Однако есть версия, что, уже приняв христианство, Владимир попытался увильнуть к исламитах (небось, император Василий кинул на бабки), арабский историк аль-Мурвази в труде «Анонимный дневник» сообщает:

И когда они обратились в христианство, религия притупила их мечи и закрылись двери добычи, и вернулись они к трудной жизни и бедности. Тогда захотели они стать мусульманами, чтобы позволен был им набег и священная война и возвращение к тому, что было ранее. Тогда послали они послов к правителю Хорезма, четырёх человек из приближённых их царя. И пришли послы их в Хорезм и сообщили послание их. И обрадовался Хорезмшах решению их обратиться в ислам, и послал к ним обучить их законам ислама. И обратились они в ислам. Аль-Мурвази пишет о «русах», что люди могучие, отправляются пешими к отдалённым местам для разбоя, и идут также на кораблях в Хазарское море (Каспийское), захватывают корабли и отнимают богатство, и отправляются в Константинополь. Их мужество и доблесть известны, один из них стоит нескольких из других народов.

Похоже, мои исторические сказания становятся неудержимыми и в одно письмо не уложатся, или оно будет несъедобно длинным, так что я решил сделать паузу и разузнать у тебя: готова ли ты на такой исторический марафон?

Письмо второе

Счастлив получить «добро», и рад предложенному названию «Исторические письма», в подражание тов. Чаадаеву. Но мы о названии еще подумаем, надо ведь и до

конца дотянуть, а потом окинуть взором, что за кишмиш получился. Чаадаеву подражать не стыдно, но ведь придется соответствовать...

В общем, пока кони бьют копытами, не будем останавливать благие порывы...

В пользу христианства, кроме прочего, было одно очень важное практическое соображение, которым можно объяснить и принятие его Римом, а позднее — и вождями германских племен: правитель получал божественную санкцию на свою власть. «Несть бо власть, аще не от Бога», сказано в «Послании к римлянам» апостола Павла. Подданных в церкви торжественно поучали: «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, но в простоте сердца, боясь Бога». В Византии власть императора была «образом царствия божьего». И сама его держава — «священной».

Ни иудаизм, ни ислам в такой мере не обожествляли царскую власть. Иудейские цари даже и не претендовали на роль «заместителей» или «представителей» Бога, это было бы кощунством, максимальный религиозный титул, который мог взять на себя царь — помазанник божий, а помазание — лишь божье благословение на царство, даруется через пророка, и по наследству не передается. Причем первых израильских царей, Саула и Давида, избирал на царство народ. А помазаны они были пророком Самуилом тайно, еще до избрания.

В исламе существовал титул халифа (наместника), который соединял в себе духовную и светскую власть. Но халиф был наместником не Бога, а пророка Мухаммеда, и подчинялся законам шариата. А шииты суннитских халифов вообще не признавали законными. В латинской церкви император Запада в конечном итоге проиграл Папе борьбу за «наместничество», и западные короли, хотя и обладали разной степенью власти над собственными церковниками, не

имели духовного авторитета «наместников Христа». Только сан византийского императора был священным — и это одна из особенностей православия.

На Западе «принятие христианства» было не одноразовым и приказным актом, а многовековым процессом инфильтрации христианских верований не только в гущу народа, но и в среду образованного общества, через античную философию «отцов церкви», через перевод Библии на латынь и на готский язык (Вульгата и Вульфила в конце 4 века), так что Миланский эдикт Константина от 313 года, который считается актом «принятия христианства» на Западе, был, по сути, актом о веротерпимости («христиане и все остальные должны иметь свободу следовать тому образу религии, который каждому из них кажется наилучшим»). Долгие века раннего средневековья христианство было хранителем и проводником античной культуры на Западе и существовало наряду с другими верованиями, порой в жесткой конкуренции с ними. Так что германские завоеватели Западной Римской империи погрузились в среду, уже веками удобренную античной культурой в ее сложном взаимодействии с христианством, и готские короли, принимая крещение, приобщались к высокой культуре поданных.

А на Руси крещение шло «указом сверху», было насильственным, тотальным и поверхностным, мало что прибавляя аборигенам по части античного образования. (Не могу удержаться и не привести тебе фрагменты из путевых заметок того самого Ибн-Фадлана, «посла аль-Муктадира к царю славян»:

я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились (высадились) на реке Атиль. ... Они грязнейшие из тварей Аллаха, — (они) не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омы-

ваются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы. Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается (их) в одном (таком) доме десять и (или) двадцать, и (или) больше, и у каждого (из них) скамья, на которой он сидит, и с ними (сидят) девушки — восторг для купцов. И вот один (из них) сочетается со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются многие из них в таком положении одни против других, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и (таким образом) застаёт его сочетающимся с ней, и он (рус) не оставляет ее, или же (удовлетворяет) отчасти свою потребность. И у них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы посредством самой грязной воды, какая только бывает, и самой нечистой, а именно так, что девушка приходит каждый день утром, неся большую лохань с водой, и подносит ее своему господину. Итак, он моет в ней свои обе руки и свое лицо и все свои волосы. И он моет их и вычесывает их гребнем в лохань. Потом он сморкается и плюет в нее и не оставляет ничего из грязи, но (все это) делает в эту воду. И когда он окончит то, что ему нужно, девушка несет лохань к тому, кто (сидит) рядом с ним, и (этот) делает подобно тому, как делает его товарищ. И она не перестает переносить ее от одного к другому, пока не обойдет ею всех находящихся в (этом) доме, и каждый из них сморкается и плюет и моет свое лицо и свои волосы в ней. И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и (несет) с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набид, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке /это он про языческих идолов/, у которой лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее маленькие изображения, а позади этих изображений высокие деревьяшки, вот-

кнутые в землю. Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О, мой господин, я приехал из отдаленной страны и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур», пока не сообщит всего, что (он) привез с собою из (числа) своих товаров — «и я пришел к тебе с этим даром»; — потом оставляет то, что с ним, перед этой деревяшкой, — «и вот, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца с многочисленными динарами и дирхемами, и чтобы купил у меня, как я пожелаю, и не прекословил бы мне в том, что я скажу. Потом он уходит. ... И не перестает обращаться к одному изображению за другим, прося их и моля у них о ходатайстве и униженно кланяясь перед ними. Иногда же продажа бывает для него легка, так что он продаст. Тогда он говорит: «Господин мой уже исполнил то, что мне было нужно, и мне следует вознаградить его». И вот, он берет известное число овец или рогатого скота и убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся несет и бросает перед этой большой деревяшкой и маленькими, которые (находятся) вокруг нее, и вешает головы рогатого скота или овец на эти деревянные, воткнутые в землю. Когда же наступает ночь, приходят собаки и съедают все это. И говорит тот, кто это сделал: «Уже стал доволен господин мой мною и съел мой дар». И если кто-нибудь из них заболеет, то они забивают для него шалаш в стороне от себя и бросают его в нем, и помещают с ним некоторое количество хлеба и воды, и не приближаются к нему и не говорят с ним, особенно если он неимущий или невольник. Если же он выздоровеет и встанет, он возвращается к ним, а если умрет, то они сжигают его. Если же он был невольником, они оставляют его в его положении, так что его съедают собаки и хищные птицы. И если они поймают вора или грабителя, то они ведут его к толстому дереву, привязывают ему на

шею крепкую веревку и подвешивают его на нем навсегда, пока он не распадется на куски от ветров и дождей. ... И если умирает главарь, то говорит его семья его девушкам и его отрокам: «Кто из вас умрет вместе с ним?» Говорит кто-либо из них: «Я». И если он сказал это, то это уже обязательно, так что ему уже нельзя обратиться вспять. И если бы он захотел этого, то этого не допустили бы. И большинство из тех, кто поступает так, это девушки.

Надо сказать, что русы торговали в основном рабами, преимущественно девушками, надо полагать славянками. Не думаю, что славянам, всяким полянам-древлянам-вятичам-родимичам, которых русы-скандинавы под себя подмiali, это нравилось, но они были «мирные», терпили, как теперь говорят: земля, домашний скот, грибы-ягоды да лесной зверь на шкуры, и дань девушками — это было в порядке вещей, и отдающие, надо полагать, свой калым имели, а точнее, навар. Но не думаю, что славяне чуть ли не с радостью или с «тупым равнодушием», побросали своих перунов в реку, как писал Пушкин в «Очерке истории Украины»:

Дикие поклонники Перуна услышали проповедь Евангелия, и Владимир принял крещение. Его подданные с тупым равнодушием усвоили веру, избранную их вождем.

Одно дело продать девушку, а другое — душу языческую, образ жизни и веру отцов. Крещение вызвало сопротивление, как открытое, которое жестоко подавлялось, так и пассивное. Князь Владимир предупредил киевлян, не пожелавших креститься: «Противник мне будет» (Радзивилловская летопись), или даже: «Не будет пощажен» (Никонская летопись), а князю стремно было противоречить. Как отмечено в летописи:

Деревянных истуканов воины безжалостно сбрасывали с горы, рубили мечами. Мокошь, Хорс, Даждь-бог друг за другом полетели в костер. А деревянного идола Перуна князь Владимир велел привязать к коню и волочить его с горы к ручью, который впадал в Днепр. Двенадцать специально приставленных дружинников били верховного бога славян дубьем.

В «Истории» Татищева приводится официальное повествование о крещении в Киеве:

Ини же нуждою последовали, окаменелыя же сердцем, яко аспиды, глухо затыкающе уши своя, уходят в пустыни и леса, да погибнут в зловерии их.

«Повесть временных лет» сообщает закономерное следствие: *Сильно умножились разбои*. У Константина Кавелина в интересной работе «Мысли и заметки о русской истории» (1866) сказано:

Это великое событие (Крещение Руси) было делом князя и меньшинства народа и шло, как все великие реформы у славян, сверху вниз; массы народа были погружены в язычество; а история всех народов показывает, как медленно народные верования переживаются в массах и как туго водворялось в них Христианство даже после того, как оно было признано за господствующую веру. ...Полутораста или двухсот лет, прошедших со времени крещения Руси при Владимире до вероятного начала колонизации Великороссии, было слишком недостаточно для совершенного перерождения русских язычников. Культура не могла не быть тогда все еще по преимуществу языческой.

По Кавелину великорусская народность вообще сложилась лет на 150–200 после Крещения, в районе Москвы и в смешении с финскими племенами, причем финская составляющая в этом образовании была больше славян-

ской (исходя из сравнительного анализа языков, что подтверждается модными нынче «генетическими экспертизами»). И не исключено, что славяне уходили на восток, убегая от крещения, как позднее народ бежал на юг от крепостничества, в казацкую вольницу, а раскольники — в Сибирь. Правительство и церковная власть боролись с язычеством еще долгие сотни лет, а в некоторых народных обрядах и преданиях оно сохранилось до наших дней. И кстати, с точки зрения сексуальной свободы народные обычаи на Руси и до сих пор скорее языческие, чем христианские. Павел Флоренский в очерке «Православие», цитирует сборник решений Стоглавого собора 1551 года:

Русали о Иванове дне... сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание и на безчинный говор и на бесование песни и на плясание и на скакание и на богомерзкие дела; и бывает отрокам осквернение, и девам растление»; подобные дела Стоглав сравнивает с «еллинскими беснованиями».

Популярность солнечных божеств любви, брака и плодородия, продолжает Флоренский, подтверждается тем, что

две губернии до сих пор сохранили имена этих божеств любви и веселия — Ярославская и Костромская; про последнюю даже сложена поговорка — «Кострома — веселая (блудливая) сторона»; там же были найдены фаллические изображения. Культ этих божеств пережил введение христианства и дожил до наших дней, отчасти косвенно, в виде многочисленных игр и хороводов с пением непристойных песен...

Академик Б. А. Рыбаков («Язычество древней Руси») пишет:

...до 17 в. переписывались церковные поучения против язычества, до 18 в. в церковных требниках сто-

яли вопросы к исповедующимся — не ходил ли к волхвам, не исполнял ли их указаний; уже в 40-х гг. 18 в. архиерей Дмитрий Сеченов доносил о нападении на него русских язычников.

На деле произошло раздвоение культуры, почти раздвоение сознания. Вот мнение отца Григория Флоровского:

...с основанием Влад. Соловьев говорил о Крещении Руси Владимиром как о национальном самоотречении, как о перерыве или разрыве национальной традиции. Крещение действительно означало разрыв. Язычество не умерло, и не было обессилено сразу. В смутных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная. И, в сущности, слагались две культуры: дневная и ночная.

Крещение Руси было ее «принуждением к культуре». Под предлогом окультуривания дикарей дух народа и его нравственность исковеркали. Русь не крестили, а распяли. И на кресте заставили от себя отречься.

Среди русских интеллектуалов 19 века бытовало мнение, что русские — молодой народ, и у него все впереди (особенно, когда сравнивали Россию и Европу). Но если в 19 веке он был «молодым», то при Крещении он был еще совсем ребенком. Так что вся его душевная история с момента Крещения пошла под знаком детского насилия. А если говорить о «русском культурном типе», то он после Крещения включает в себя не только православие, но и двоеверие, в лучшем случае, двуликость (*две культуры: дневная и ночная*), в худшем — укоренившееся лицемерие.

Письмо третье

Да, Марк серьезно занимался иконами. И вообще, когда я приехал тогда, в первый раз, летом 91-го, он был уже совсем другой. По отношению ко мне стал желчным, нагловатым, почти высокомерным, и с женщинами у него, кажется, все изменилось, он всегда был томно сластолюбив, но если раньше, как я помню, уныло таскался за дамами, то теперь был постоянно окружен стайкой девушек и жовиально весел. Вот что крест животворящий делает. Прости, если шутка не в масть. Когда я уезжал, он еще не крестился, а теперь, такая популярность... Впечатление, что прям заступил на пост Александра Меня. Но тот евреев крестил направо и налево, а теперь евреев мало осталось, много на этом не заработаешь. Ладно, прости, нет, я не злопамятный, как в том анекдоте, я просто злой и у меня хорошая память. А в иконах он знатно разбирался, помню несколько беглых, но очень ценных, метких замечаний, когда мы зашли к этому знаменитому художнику, такой типичный советский двоемирец-двоедумец: отрекся от своей авангардной молодости и всю жизнь малевал солнечных колхозниц со снопами под красным знаменем, а втайне собирал иконы — спасал! Жаль, не удалось его тогда повидать: лежал где-то в глубине дома при смерти, а молодая без пяти минут вдова показывала нам коллекцию, я был под сильным впечатлением приобщения к тайнам и таинствам, своей избранностью: ты, да я, да Марк, да пара немецких рыжебородых профессоров. Марк потом постепенно как-то смягчился по отношению ко мне, возможно, после того как я подарил ему альбом с фотками монастыря св. Екатерины в Синае, я его вез одному приятелю, но решил Марку потрафить, там есть знаменитая икона Христос Пантократор, чуть ли не самое раннее иконописное изображение Иисуса, и к тому же довольно загадочное: лицо как бы разделено и

составлено из двух разных, у левой стороны и бровь изогнута, и глаз смотрит вниз, и щека худее, двуликий Христос. Марк, помню, очень обрадовался.

Однако вернемся к нашим баранам (знаешь этот анекдот: «учтите, что бараны и козлы — это совершенно разные люди»). И раз уж мы добрались до третьего письма, и я еще вспомнил эту странную икону Вседержителя, то давай поговорим «за религию», тем более что и ты в свое время ни одну церковь без крестного знамения не пропускала, и меня неумоимо таскала по монастырям, за что я тебе глубоко благодарен — места замечательные, и я люблю, может, с тех пор, а, может, и раньше (думаю, что раньше), люблю всем сердцем русскую церковную архитектуру, и мне тогда часто мерещились за углом, или в тумане, очертания этих изящных, нежных, легких, будто крылатых творений, вроде Покрова на Нерли, или Вознесения в Коломенском. Кажется, именно в них, да в росписях и иконах, явился нам печальный и сумрачный русский гений. Я думаю, что гений этот — дитя, требующее утешения. Потому и Богоматерь на Руси — главное божество. Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице. Думаю, помнишь, как почти сразу после того как мы познакомились, ты взяла меня на всенощную на Ордынке. И хоры литургические — чудные у православных, жалостливые. Мне кажется, что слезность и жалостливость — главное в русском вере, вере детей обиженных. На Западе, и у евреев — точно не так. Хотя я не спец по католическим литургиям, но из того что слышал сложился другой образ, более торжественный, славящий, и живопись другая, а уж архитектура: готические соборы — это взрыв, порыв, космическая ракета, какие там «утешения».

Так что, пожалуй, именно этой жалостливостью, этим вечным детством (агнец Божий) Иисус прижился на Руси, стал ей близок, и русским неважно, «византийское» это

христианство, или «латинское», и христианство ли вообще (в строго догматическом смысле), потому что именно в вечном младенчестве ключ к русской душе, русский Бог — беспомощное и обреченное дитя на руках скорбящей матери, и с ним, с обреченным, сердце русское всегда слезоточит от жалости, оно по себе плачет (и этим мне близко). И Отец ему не помог и не поможет, Отца вообще нет на русских иконах, разве что в виде Троицы, где три ангела неопределенного пола: добры, расслаблены, утешают. И последнее слово сразу выталкивает из памяти строки:

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

Какие русские стихи еврей написал! Такие предсмертные: «почти что те»... Те, прозрачно-серые леса Элизиума, когда Психея-жизнь спускается к теням в полупрозрачный лес, вослед за Персефой, где лес безлиственный прозрачных голосов, и душа не узнает прозрачные дубравы... Останови, о нем я могу говорить бесконечно...

А лика Отца нет у русских. Как будто боятся они Его, Отца сурового. На редких сохранившихся парных иконах, где Сын с Отцом рядом, у Отца в нимбе за головой шестиконечная звезда, щит Давидов, нерусский знак. Формально отсутствие икон Отца объясняют отсутствием его словесного описания — полная чушь, есть словесное описание в пророчестве Даниила (типа седой старец), да в крайнем случае изобразите как «свет ярчайший». А если уж

«формально», то на Седьмом Вселенском соборе (за 200 лет до Крещения Руси), собранном как раз против иконоборцев, было постановлено:

полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, непорочные Владычицы наша Святыя Богородицы, также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей.

То есть не токмо запрета не было, а имелось высочайшее разрешение. И такие иконы в Византии появились, но Русской Церковью не признавались, а их распространение даже вызвало соборное осуждение, так Стоглавый собор в 1551 году запретил изображения Бога Отца и всякие «производные»: Сопрестоліе, Отечество, Ветхий денми, Распятие в лоне Отчем, Саваоф, и еще некоторые. А на Московском соборе 1666 г. потребовалось вновь осудить изображение Отца:

Лепо бо и прилично есть во святых Церквах на деисусе вместо Саваофа, поставити Крест, сиречь Распятие Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Иисус Христос для русских — Спас, Спаситель детей божьих, и Его призыв *Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное* (Мф 18:3) находит живейший отклик в русской душе. Ницше пишет в «Проклятии христианству»:

царство небесное принадлежит детям; вера, какая заявляет здесь о себе, — она не завоёвана, она просто здесь, с начала, это как бы ребячливость, задержав-

шаяся в сфере духа. По крайней мере физиологи знают феномен запоздалого полового созревания с органическим недоразвитием, — следствие дегенерации.

Ну, варяги-викинги точно были дегенератами, достаточно и сейчас на них посмотреть, но не о том речь. Каждый выбирает в «учении» то, на что отзывается его сердце: русское сердце — на детскость.

...кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня (Мк 9:36–37). Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо их есть Царствие Божие (Мк 10:13–16, Мф 19:13–15, Лк 18:15–17). Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божьего как дитя, тот не войдет в него.

Однако на деле получается на Руси с детством, и с Царством Божиим как-то не так.

Вот и у Ницше в «Проклятии христианству», когда вместе с детскостью и дегенерацией всплывает идиотизм, он почему-то вспоминает о «русском романе»:

В странный нездоровый мир вводят нас евангелия — мир как в русском романе, где, будто сговорившись, встречаются отбросы общества, неврозы и «наивно-ребяческое» идиотство. ... Жаль, что рядом с этим интереснейшим *decadent'*ом не было своего Достоевского.

В этом плане любопытна и проповедь Чаадаева, в ней тоже, как бы невольно прорываются метафоры «младенчества» и «ребячества»:

Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизи-

тельное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. ... И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица.

А вот как «Домострой», книга христианских наставлений 16 века, учит паству:

21. Как детей учить и страхом спасать

Наказывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалея, младенца бия: не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед: не посрамишь лица своего. Любя же сына своего, учащай ему раны — и потом не нахвалишься им. Воспитаи детей в запретах и найдешь в них покой и благословение. Понапрасну не смейся, играя с ним [поясняя: смеяться — грех, смех — дело языческое, в нем сила сатанинская]: в малом послабишь — в большом пострадаешь скорбя. Так не дай ему воли в юности, но пройдишь по ребрам его, пока он растет...

А писатель Максим Горький, других времен и с другим опытом, но народ свой не понаслышке знающий, свидетельствует в статье «О русском крестьянстве»:

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчеты Московской судебной палаты» за десять лет — 1900–1910 гг. — и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно — кого. Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».

Письмо четвертое

Я не знал, что Марка крестил Меня, случайно «попал». А тайны в смерти Меня никакой нет: он набирал силу, мог стать архиереем, а такого духовного пастыря, чересчур умного, чересчур современного, да еще молодого, да еще еврея, русской церкви не треба. Элементарно «убрали». А раздрай и духовные поиски — это вечные русские забавы, так что я тебя понимаю. Вот только твои занятия каббалой не одобряю (шутка). Нет, дело само по себе хорошее, и любой христианин, если ищет «свой путь», воленс-ноленс «заходит» к еврейству в гости, посмотреть-разузнать. И этот путь прошагали многие из русских мыслителей, не из худших, но тут (как и в каждом деле) хорошие учителя требуются. А тобою выбранный — не из лучших. То есть я понимаю, интернет, вбил в Гугель слово «каббала», а он первый торчит. Но учителей, как и мужчин — вот мое девам назидание — , надо искать, а не хватать того, кто первый на дороге стоит с голыми ногами. Говорят, этот Учитель у вас весьма популярен нынче, толпы собирает, глядишь, и какая-нибудь «русская каббала» миру явится, явилось же русское христианство. Кстати, «они», считают, что Иисус был каббалистом. Кто ж его знает...

Но вернемся к «детскости» русского христианства. Скажут, что образ дитяти всеобщий: человек — дитя природы.

Оно так, но человек не просто дитя природы, он ее выки- дыш, существо, отпавшее от мира, от матери-природы, осиротевшее, и отсюда пошло-поехало: рефлексия-само- сознание, язык, философия — с тех пор «мамонтенок ищет маму». И степень «отпадения» есть степень «цивилизован- ности». Поначалу-то ему не просто хочется «найти маму», он жаждет вновь слиться с ней, вернуться в ее лоно (отсюда и все обряды погребения и любви), зачеркнуть свою мучи- тельную осиротелость. И если взять язычество, то это рели- гия «чувственная», мистическая, многочисленные боги-про- водники ведут к Природе-Божеству через мистериальные, оргийные обряды с человеческими жертвами, вином, тан- цами, через состояние освобождающего опьянения чувств, «неистовства», «одержимости». Бога самого рвут на части и поедают. Так тело освобождается и приобщается к божест- венному (кто-то, не помню кто, сказал, что не тело темница души, а душа — темница тела, наверное, кто-то из француз- ских умников вроде Фуко или Делеза, в том смысле, что «души» никакой нет, а есть сознание — продукт социаль- ной деятельности и социальных условностей и ограниче- ний, а социум — точно темница), так вот «тело» надо рас- крыть навстречу Космосу, как цветок раскрывается, когда он созревает, пусть тянется запахами, красками, лепес- точками к слиянию с ним. Еще Сократ в «Федре» говорит, что *величайшие для нас блага возникают от неистовства* и перед смертью пожалел, что слишком мало уделял вни- мание музыке. Э. Р. Доддс, автор примечательной книги «Греки и иррациональное», пишет, что «отец западного ра- ционализма» (Сократ, стало быть) считал неистовство «да- ром божьим» и выделял

четыре типа этого «божественного неистовства». Типы эти таковы: 1) пророческое неистовство, по- кровителем которого является Аполлон; 2) риту-

альное, исходящее от Диониса; 3) творческое, вдохновляемое Музами; 4) любовное, внушаемое Афродитой и Эротом.

Все мистериальные обряды были коллективными, человек мог пробиться к Божеству только всем скопом, раскрепощающим массовым помешательством. Язычник пробуждает-возобновляет свою связь с природой через родовые камлания, в экстазах единства, род — его пуповина, он не обрезанный, не обрезана его связь с Природой-Божеством. Язычество — религия природы и связи с природой. По А.Ф. Лосеву (если рассматривать античное язычество, лучшего спеца не найти) античные боги это обожествленные силы природы, космос античного грека материален, «античность скульптурна». И античные боги не творят мир, они вроде посредников...

И тут пришли евреи и все испортили — совершили религиозную революцию. И дело не в единобожии, что Бог остался один-един, а в том, что он вне зримой, вещественной природы, он ее Творец! И к нему теперь ведет неуклонное следование заповеданным правилам — чувственное неистовство отменяется! Бога следует прежде всего — понимать (чего он хочет от нас), как Спиноза говорил: «не смеяться, не плакать, а понимать», а из чувств к нему осталась любовь (к языческим богам никто любви не испытывал). И это была любовь к отцу, любовь-благодарность за жизнь, защиту и за весь мир вокруг. Эротически чувственная пуповина обрезалась — все дело в обрезании! Рождается Человек-обрезанный, homo Circumcidatur. Обрезание есть обнажение, и у евреев это обнажение-обращение к будущему (в отличие от пуповины, связующей с прошлым). К Грядущему обращены сердца (йихе ашер йихе, назвал себя Господь Моисею, я есмь Грядущий), и ему на встречу надо обнажить сердца, Моисей учит (Втор. 30:6): «Господь, Бог твой, обрежет сердца твои и сердца потом-

ков твоих, чтобы ты любил Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею», а Иеремия, через века, призывает (Иер. 4:4): «Обрежьте себя Господу, обрежьте сердца свои». И обрезание крайней плоти — обнажение навстречу грядущему, будущему, боевая готовность совершить великий акт продления рода. Это вторая степень отрыва от матери-природы: обнажение в сторону будущего. Закончились и беспорядочные языческие игры с судьбой, судьбой стала История: целенаправленное движение в божественной цели, а «контакт» с Божеством (если говорить об эмоциях) возникал в ходе прочувствованного осмысления грандиозной задачи. Отныне человек радостно ощущает, что он часть Божественного Замысла, участник мирового движения к непостижимой, но поражающей воображение цели, и в этом его счастливое единство с миром, с Богом-Замыслом. Сиротство отменялось, по крайней мере, потеряв мать, он обретал Отца, а связь с ним стала личной, путем учения и молитвы. И если космос — это некая структура («порядок», «ряд») то История — это процесс. Как пишет С.С. Аверинцев (статья «Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”»):

библейский мир, «олам», по изначальному смыслу слова «век», иначе говоря, поток времени, несущий в себе все вещи; мир как история. ... Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать.

Но у евреев — и это очень важно в иудейском учении — осталась связка родовой общности, через избранность, как родовое наследие, дар Господа Аврааму за его подвиг веры, и поддержание родовой жизни поднято у них до значения религиозного обряда возобновления договора с Царем Вселенной и верности общей цели. Жизнь творят вместе:

вместе молятся, вместе учатся, а умрешь, Господь свяжет тебя — спелый-готовый колосок — в живой родовой сноп, колосок к колоску: «Да будет душа твоя связана в сноп жизни вместе с душами Авраама, Исаака и Иакова», как пишут на еврейских надгробиях. При этом относительно высока (по сравнению с восточными обществами) степень личной свободы. Можно напомнить, что еврейство дважды рождалось через освобождение от рабства: сначала родоначальник Аврам вышел из тоталитарного Шумера, а затем и весь народ — из Египта, «дома рабства», что стало учредительным актом рождения нации и ежегодно отмечается, как великий праздник. (И нет смысла спорить об историчности тех или иных событий: мифология, передаваемая из поколения в поколение, становится частью сознания.)

Греки, однако, тоже совершили свой переворот, экзистенциальный, они создали философию и личность — философия дело личное. А. Ф. Лосев считает, что «внеличностная природа античной культуры» привела, в конце концов, к тому, что античный человек стал чувствовать «пустынную»:

Нет никого, раз нет личности и есть только что. Космос — это что, а не кто. Поэтому я определил бы печальный и трагичный конец этой замечательной античной внеличностной культуры словами поэта 20 века: Я несусь и несусь неизбывных пыланий глухую грозу
//И рыдаю в пустынях эфира [Вяч. Иванов].

Это «христианский» взгляд, считающий, что личность родилась с христианством, с богочеловечеством Иисуса Христа. Но на мой взгляд, дело не в этом. Личность началась с философии. Впрочем, «личность» это понятие мутное, и вообще, я не философ, не знаю, как поточнее назвать родившееся, может быть «индивидуальностью». Или субъектностью. Философия создает в этом мире субъекта тво-

рения. Точнее, человека, который пытается стать субъектом творения. Такого богоборца. Потому что возжелал понять, как мир божий устроен. А кто поймет, тот им овладеет. А евреи — не субъекты, они рабы Божьи. В еврейском мире только один субъект творения — Господь, Адонай Цваот.

В общем, греки-философы «пустыни» мировой не испугались, они в нее углубились, вглубь одиночества, как моряки вглубь океана: с азартом и дерзостью мореплавателей. Любовь к приключениям — основа творчества. Отсюда пошла философия, математика, естествознание, литература. Отныне общение человека с божественным переходит в сферу познания и освоения Мироздания. Вместо магических восторгов «выхода из себя» — успехи математики (математика — язык Бога, говорил Галилей), открытий строения материи и стройность обобщающих философских систем. Конечно, это был «Бог философов». И Пифагор — пророк его. И для праздника этой веры не нужен коллектив, каждый справляет его на свой лад, в соответствии со своим пониманием, без коллективных молебнов, песен и плясок, и даже продолжение рода тут не причем. Это Бог одиночек, коим позволено только плодить учеников. Так в языческой Греции родился «индивидуализм», родился человек-оторва. Это уже было не обрезание-обнажение, а полное отрезание-отрывание себя от рода (не человек обрезанный, а человек отрезанный). Сознание, в своих операциях с общими, абстрактными принципами, отрывалось от конкретной жизни (от жизни вообще?), а литература стала описательной. Различие между методой отрыва у иудеев и греческих философов опять же возьму у Аверинцева: он приходит к выводу (через характер словесности), что у греков *человек есть «индивидуум», создавший дистанцию между собой и миром и через это получивший способность видеть вещи, людей и самого себя «со стороны»*, а у древнееврейского

поэта слова дают не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную интонацию. Я бы сказал, что если у евреев — воля к жизни, то у греков — воля к мысли, вплоть до ее отрыва от жизни. По такой «схеме» и жизнь есть движение мысли, и у этого движения тоже есть Цель, но не провиденциальная цель Творца, а осмысленная цель человечества, которую он сам ставит себе и своим ближним. А может быть, как пишет Сергей Трубецкой в книге «Учение о Логосе в его истории»:

эта цель есть вместе объективная и субъективная, не только положенная человеку, но и предзаложенная в нем, в его духе или разуме. Возможен и такой синтез: есть мыслители, которые признают и сущее, и становящееся Божество и видят смысл мира в воплощении Сущего в Становящемся.

Парменид, например, считал, что бытие и мышление есть одно. Углубляться не буду, не философ я. А по Аверинцеву, если в Греции возникает тип «гения среди толпы» (а толпа — та же пустыня), то

мы не могли бы объяснить ближневосточному человеку [еврею], что такое «творческое одиночество», ...потому, что у него не было опыта подлинного одиночества... Человек в Библии [Аверинцев тщательно избегает слова «еврей»] никогда не остается по-настоящему один, ибо даже тогда, когда рядом с ним нет людей, его утешающий или грозящий Бог всегда рядом. Каждое слово Библии говорится всякий раз внутри непосредственно-жизненного общения говорящего со своим Богом и с себе подобными. В разговоре неважно, кто сказал слово... если вся народная общность включена в ситуацию разговора [столь чаемая русскими богоискателями соборность].

Отсюда вытекает сущностная «анонимность» литературы ветхозаветного типа, присутствующая даже тогда, когда текст несет на себе имя его создателя (как сочинения пророков). ... Само собой разумеется, что эта «анонимность» ни в коем случае не означает безличности: кто, в самом деле, спутает ироническую сосредоточенность «Екклесиаста» с яростными интонациями «Книги Иова» или с вдохновенно-резонерским голосом «Книги притчей Соломоновых»? В древнееврейской литературе много своеобразнейших «личностей», но нет ни одной «индивидуальности».

А в греческом типе литературы важно авторство. Потому что в качестве индивидуальности человек проводит мысленный предел между собой и не-собой, осознает себя как неделимый и от всего отделенный, равный себе самому «атом», и творит «из себя», на манер Творца.

Извини, я, кажется, увлекся с цитатами и, может быть, зря влез в эти «общие схемы», но я хотел поставить разговор о Крещении Руси в надлежащий, так сказать, историко-философский контекст, чтобы понять, за что рубимся. Не за бабки же...

Ладно. В общем, христианство явилось неким синтезом иудейства с греческой античностью, больше с философией, но и языческую мифологию не забыли, особенно в обряде символического поедания тела и крови Христовой (Евхаристия, приобщение т.ск.), надо же и пиплам дать что-то похавать.

А античная философия («я так думаю», говорит герой фильма «Мимино») приняла христианство, всю его иудейскую картину мира и дисциплину исполнения, пленившись идеей богочеловека, сверходиночки (сверхчеловека?). И это развязало руки индивидуализму (могильщику всех религий), так что в эпоху Возрождения «человек мыслящий» вообще отошел от коллектива-рода, который все еще пре-

бывал в средневековом карнавальном язычестве, и стал как бы сам по себе в этом мире. Так родился и «человек творческий», титан Возрождения, и человек «экзистенциальный» (озабоченный своим личным «бытием»), а тот и другой — всегда одиноки. Современный человек одинок. Как сказал знакомый тебе поэт: «Погост церковный у дороги. // Звенит фарфоровый венок. // Лишь тот божественно свободен, // Кто бесконечно одинок».

Мне вообще кажется, что «западный» человек (от греческой античности до Возрождения: а оно — возрождение античности) — человек титанический. Прометеевский тип. Одинок и бесстрашный. Ницше в какой-то мере пытался его возродить в повести о Заратустре. Но это был не гимн будущему сверхчеловеку, а отходная угасающему титану...

На этом закончу краткий эскиз кастинга религий накануне Крещения. А «что из этого вышло» — в следующем письме, если я тебя еще не уморил своей болтовней.

Письмо пятое

Я понимаю: Сократ — икона. Хотя я недолюбливаю (это личное) его пафосную «цикуту», и то что в диалогах своих занудных норовил выставить оппонента дурнеем. Но за то что воевал, уважаю. Кстати, о «диалогичности» толково пишет Аверинцев:

Греки ... изобрели ... диалог как литературный жанр! Это греческое изобретение едва ли не наиболее отчетливо выявило коренную недиалогичность греческой литературы. ... Сократ ... идеал радикально недиалогического человека, который не может быть внутренне окликнут, задет и сдвинут с места словом собеседника. ... Такой образ — гениальный литературный коррелят эллинских философских концепций самодовлеющей сущности. Но чтобы быть раскрытым для

сущностного диалога, надо как раз не довольствоваться собой, надо искать «источник жизни», «источник воды живой» (древнеевр. макор хаим) вне себя, в другом, будь этот другой Бог или человек; «я» должно нуждаться в «ты». В Библии никто не стыдится нуждаться в другом; человек жаждет милости Бога, но и Йахве яростно, ревниво, почти страдальчески домогается человеческого признания. ... Греческий мудрец тем совершеннее, чем меньше он нуждается в ком бы то ни было другом, а философское божество греческих доктрин, этот абсолютизированный прототип самого философа, уже безусловно довольствуется себе и невозмутимо покоится в своей сферической замкнутости, ибо для него, как мы это знаем уже из Ксенофана, «не приличествует» куда-либо — но, значит, и к кому-либо! — порываться.

При этом Аверинцев делает важное добавление:

надо сказать, что если сквозь контраст между ближневосточным и эллинским типами человека проглядывает важное сходство, то оно состоит прежде всего в особой предрасположенности к восторгам умствования, к тому, чтобы видеть в «учении» ценность превыше всех ценностей. ... для тех и для других их «мудрость» есть предмет всепоглощающей страсти, определяющей всю их жизнь, и обладатель мудрости представляется им самым великим, самым достойным, наилучше исполнившим свое назначение человеком.

Но различие — существенней, и прежде всего, оно в разном представлении о времени.

Если Гораций (не грек, но из той же оперы) поучает: *Лови день, менее всего доверяя следующему!*, то

сквозной мотив Библии — обетование, на которое не только позволительно, но безусловно необходимо без колебания променять наличные блага.

И если в язычестве и архаичных культурах господствовал миф о «Золотом веке», как и мечты о возвращении, то герои Ветхого Завета движимы верой в будущее, таким «эсхатологическим оптимизмом».

Да, Сократ «нам дал» (культурный герой!) универсальные ценности разума-логики, отец рационализма и все такое. Только вот универсальны — лишь формулы математики, а «человеческие ценности», этика и пр., штука спорная, и «разум» не золотой ключик в страну Счастья (кстати, «на дне» таинственного подземного хода в страну Счастья Буратино нашел театр кукол — путь вел в страну дураков). Как писал мудрый русский поэт: «чувство презрев, он доверил уму (в смысле доверился);// Вдался в суету изысканий... // И сердце природы закрылось ему». Но оставим философию и вернемся в историю, тем более что я уже «набрал обороты». Вот только по ходу дела «взгляды» меняются (меняются углы зрения?). Я начал свои исторические размышлизмы, с определенной целью, честно скажу, публицистической, и был у меня ясный «концепт» русской истории, четкий диагноз: вечная травма детского насилия. Но чем дальше «иду» по ней, по «русскому пути», тем сильнее атакуют меня туманы. А История-жизнь-время — это такая накопительная система (у Бергсона есть образ «снежного кома»), по аналогии с человеческой жизнью-историей, когда ее очертания, смысл и цель начинают просматриваться только к концу...

Да, я понимаю твои возражения насчет «оценки» Крещения», и в самом деле, почти все деятели русской культуры оценивали принятие христианства как культурный прорыв, как величайшее достижение Русского государства. Тот же Г. Флоровский пишет:

через Христианство древняя Русь вступает в творческое и живое взаимодействие со всем окружающим культурным миром...

Аверинцев вторит ему в статье «Крещение Руси и пути русской культуры»:

Каким бы ни было богатство автохтонных традиций восточнославянского язычества, подчеркиваемое такими исследователями, как академик Б. А. Рыбаков, только с принятием христианства русская культура через контакт с Византией преодолела локальную ограниченность и приобрела универсальные измерения.

«На полях» замечу, что язычество античной Греции стало вершиной человеческого творчества во всех областях, называемых обычно «культурой», а приход христианства вел зачастую к погромам созданных античным язычеством культурных учреждений, например, библиотек, и возвращению дикости и невежества на века.

Но, даже если Аверинцев прав насчет прорыва к «универсальным измерениям», от этой насильственной дефлорации остались глубокие душевные раны: разрыв культурной традиции вызвал неизбывное чувство вины за предательство отеческих богов и неизлечимый комплекс неполноценности. Ты поступаешь учеником к чужим и жестоким учителям. И это навеки. Это — как рабство. А детскую травму унижения и насилия взрослый муж старается изо всех сил позабыть (Фрейд сказал бы: вытеснить), закидать ее, как могилку незаконно умерщвленного младенца, венками воинской славы и цветиками «прорыва к универсальным измерениям» (а то у язычников в Греции или Индии не было выхода к универсальным измерениям). Мало кто из русских мыслителей осмеливался затронуть покров этой ядовитой раны. Чужому легче, и в этом смысле поразительную догадливость проявил Вальтер Беньямин в своей очерке «“Идиот” Достоевского»:

Разрушенное детство — вот боль этой молодости, потому что именно уязвленное детство русского человека и русской земли парализует ее силу.

В течение всей русской истории насилие над собственным народом оправдывалось приобретением его культурой «универсальных измерений», и при Владимире Красное Солнышко, и при Петре Великом, и при Ленине-Сталине, и при всех остальных.

И сегодня глава РПЦ патриарх Кирилл заявляет:

В каком-то смысле мы Церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке [на «непонятном»?], они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие.

(Это я в Сети нашел, какое-то интервью корреспонденту телеканала «Россия» в сентябре 2010 года.)

Так и хочется ответить патриарху словами Чаадаева:

Почему русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой.

А вот насчет «мы Церковь Кирилла и Мефодия» надо уточнить. Сии просвещенные (и весьма) мужи из Салоник,

профессиональные проповедники и политики, близкие к византийскому трону, действительно, для начала создали славянскую письменность, но опираясь на выученный язык западных славян (Македония, Болгария, Моравия), а значит — и на их культуру — вот почему болгарский и сербский так похож на русский! — , потом они «перевели» на этот новояз несколько богослужебных книг, так что жителям Киевской Руси навязали не только другую веру, но и другой язык. Кстати, на этом «старославянском», слово «язык» означает еще «народ», так что получается, что подменили народ, ибо без письменности нет культуры (язык письменной культуры не то что разговорный), а стало быть, и народа с его историей. Кирилл вообще был учен знатно, кучу языков знал, и иврит в том числе, даже был послан в Хазарию, где принимал участие в «диспуте веры». Однако полного библейского свода не было на русском языке еще шестьсот лет, чего народ на Руси не заметил, потому что аж до начала 20-го века был почти поголовно безграмотным (в 1875 году, по официальным данным, почти 80% призывников было неграмотно, это через тысячу лет после «приобретения универсальных измерений»). Вера была «темной», а значит, подверженной шатаниям и всякого рода ересям. Верили, как Бог на душу положит. Так, возможно, веяния западнославянской культуры занесли в Россию мрачную болгарскую ересь — богомилство, с его гностико-манихейскими мотивами. Культуролог Игорь Яковенко считает влияние манихейства и гностицизма очень существенным, если не определяющим для формирования многих мифов общественного сознания современной России: отсутствие плюрализма и дуалистическое разделение мира на Добрых и Злых, Наших и не Наших, Спасителя и Антихриста. Прочитирую из его работы «Манихео-гностический комплекс русской культуры»:

Для манихея конфликт... — один из эпизодов Вечного боя. Из всех видов борьбы манихей знает один —

борьбу на уничтожение. ... Манихей перманентно озабочен поисками Врага. «Ересь латинская», «немецкое засилье», «польская интрига», «коварный Альбион», «буржуи», «мировой империализм», «мировая закулиса», «жидомасонский заговор» — все это лишь сменяющие друг друга номинации ячейки, предсуществующей в сознании манихея. (...) Любые негативные процессы в «нашем» социокультурном универсуме не могут вытекать из природы объекта, специфики этапа его развития, специфики ситуации. ... это — следствие действий враждебных сил. И чем серьезнее негативные процессы тем, страшнее и могущественнее Враг, тем ближе к апокалипсическому масштаб противостоящей «нам» силы Зла, тем более универсально и всепроникающее их влияние. ...

Чаадаев был единственным, кто подверг принятию православия радикальной критике:

Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии.

Вообще, главной идеей Чаадаева была преемственность: жизнь рода, общества, культуры он рассматривал «органически», как рост организма.

Народы живут только сильными впечатлениями, сохранившимися в их умах от прошедших времен, и общением с другими народами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем человечеством. Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для

себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи вымещаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели.

Это уже итог многих переворотов в русской истории, даст бог, дойдем до «наших дней».

А в начале 20-го века была поставлена под сомнение даже польза от принятия особой славянской письменности (Г. Г. Шпет, Г. П. Федотов). Как пишет Г. Флоровский:

Не означает ли славянский язык Церкви «отрыва от классической культуры», — перевод заслоняет оригинал, устраняется неизбежность знать по-гречески, подобно тому, как на Западе латинский язык Церкви был обязательным.

О том же и Бердяев в своей «Русской идее»:

как объяснить эту культурную отсталость и даже безграмотность, это отсутствие органических связей с великими культурами прошлого? Высказывалась мысль, что перевод Священного Писания Кириллом и Мефодием на славянский язык был неблагоприятен для развития русской умственной культуры, ибо произошел разрыв с греческим и латинским языком. Церковно-славянский язык стал единственным языком духовенства, т. е. единственной интеллигенции того времени, греческий и латинский языки не были нужны.

Даже Мандельштам боднул византийцев: *Первые интеллигенты были византийские монахи, они навязали языку чуждый дух и чуждое обличье.*

Чья бы корова мычала насчет «чуждого духа», а еврейская бы молчала, тем более что статейка эта постреволуционная («Vulgata», 1923 г.), почти сервильная. Вообще, после Петра Великого, и тем более после Октябрьской революции принято было ругать Византию (мол, из-за нее «отставание»), вот и Чаадаев туда же, а византийская интеллигенция была, между прочим, утонченнейшей и глубокой культуры, местами поглубже западной. Восток вообще утонченнее. Вот я сейчас читаю Бахауддина, это, правда, раннее средневековье, но поэзия вечна:

Твои глаза — моя религия, волосы твои — моя вера.
Я комок земли в поле, которое распахивает пахарь.

На этом пока закончу, отвлекают, сбивают ось... Как у Мандельштама:

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошло другое,
Надсмехалось, сбило ось.

Это 37-ой, его последний год на свободе...

Письмо шестое

Вот ты говоришь: подумаешь, изнасиловали, с кем не бывает, отряхнулись и пошли дальше, жизнь зовет. Оно, конечно, так, и хотя насилие насилию рознь, да и жертвы по разному «впечатлительны», но, допустим, что в данном случае мы имеем дело с крепкой, «здоровой» натурой (был такой анекдот, помню еще со школы, как курицу каток переехал, а она отряхнулась и говорит: крепкий мужчина попался), и как глаголет русский фольклор: нравится, не нравится — терпи моя красавица, а стерпится — слюбится. Но

хорошо, если разок — и все, дальше сама, а если: не было никогда и вдруг опять? Вот я тебе сейчас цитаткой по случаю (читаю «Русскую идею» Бердяева):

Для русской истории характерна прерывность. В противоположность мнению славянофилов, она менее всего органична. ... Развитие России было катастрофическим.

Но — давай по порядку. В общем, стала Русь поманеньку привыкать к христианству, сжилась с ним, полюбила, можно сказать, а тут как раз и Византия «пала», так что Московское царство взяло на себя роль покровителя и духовного светоча всего православного мира. По мнению Ключевского, русское общество *прониклось религиозной самоуверенностью*. Можно предположить, что именно в этот период зародилось и пресловутое «русское мессианство», представление о себе как о народе-богоносце. Патриарх Никон даже начал строить памятный нам с тобой Новый Иерусалим, макет Земли Обетованной в натуральную величину. (И сразу — слова цепляют воспоминания — вижу своего учителя иврита в разоренной, дом шел на слом, квартире на Маяковской у огромной, на всю стену, карты Израиля, а если заходил новенький и изумлялся масштабу, Учитель неизменно шутил: «В натуральную величину».) Г. Флоровский отмечает апокалипсический характер возникших в России ожиданий:

Именно в таких перспективах апокалипсического беспокойства вырисовываются первые очертания известной «теории Третьего Рима». Это была именно эсхатологическая теория, и у самого старца Филофея она строго выдержана в эсхатологических тонах и категориях. «Яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»...

Был и определенный расцвет православного богословия и учености, даже какое-то религиозное брожение: тут тебе и униаты, и «жидовская ересь», особенно на западных окраинах Руси, в Литве, Новгороде, в Киевской митрополии. Однако кондовое духовенство, естественно, всякие западные веяния и ученость — на пики. Так *известный Иоанн Вишенский (по Флоровскому) западному мудрованию противопоставляет «простоту голубиную» и «глупство пред Богом».*

«Чи ти лепше тебе изучити часословец, псалтир, охтоих, апостол и евангелие с иншими, Церкви свойственными, и быти простым богоугодником, и жизнь вечную получитьи, нежели постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати — и в геену отъити».

Итог полутысячелетнему господству «универсальных измерений» и «творческого взаимодействия со всем окружающим миром», подвела эпоха Ивана Грозного: разгром всего живого внутри государства, включая подавление влияния Церкви, а на внешних рубежах — бесконечное раздувание территорий на Восток и тяжелые военные поражения на Юге и Западе, включая тотальное уничтожение некогда вольного города Новгорода, изначального «окна в Европу», в результате выходы к Черному и Балтийскому морям были вообще заблокированы. Эпоха эта увенчалась Смутой и реальной угрозой распада сложившейся государственности.

А в то время как Россия подхватила и понесла далеко на Восток выпавшее из рук Византии знамя православия, на Западе уже расцветала эпоха Возрождения. Притягательная сила этого культурного взрыва дошла и до России, и в кругах правящей элиты начался, хотя б как веянье моды, медленный отход от византийских традиций и поворот к Западу. Карамзин пишет об Иване III: «Разодрал завесу между Европою и нами». Верхушка власти все чаще поглядывает

на Запад, но при этом все тверже направляет простонародье по руслу «веры отцов», вполне в традициях двоеверия-лицемерия русской власти и всей русской жизни.

Но настоящее и драматически активное «влияние Запада», как считает Ключевский, началось в 17 веке, после Смуты. «Война покажет», вещает русская народная поговорка. Смута и «показала»

несостоятельность существующего порядка. Тогда и начался глубокий перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей, на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. (*Ключевский, «Курс русской истории».*)

Началось с преобразования армии, тогда же и пошло постепенное, но все более активное привлечение иностранцев и возникла знаменитая Немецкая слобода. Ее «завел» еще Василий 3-ий, Иван Грозный разгромил (по словам служившего в Московии французского наёмника Жака Маржерета, ее жители были *зимой изгнаны нагими, в чем мать родила*), Борис Годунов восстановил, но во время Смуты ее снова сожгли дотла. Развелась активная переводческая деятельность, возникли первые попытки завести казенные школы, пошла мода на изучение иностранных языков, прежде всего греческого, латинского, польского. Законодателями «западной» моды были царская семья и царский двор, по словам Ключевского, *сам царь Алексей подавал пример в этом*. Так и пошло с тех пор, что «правительство — единственный европеец в России», как Пушкин подметил в 1836 году в неотправленном письме Чаадаеву.

Формально, проблема перевода и унификации церковных текстов привела к Расколу. Но на самом деле Раскол был реакцией на западное влияние. Последуем за мыслью Ключевского:

Потребность в новой науке, шедшей с Запада, встрети­лась в московском обществе с укоренившейся здесь веками неодолимой антипатией и подозрительностью ко всему, что шло с католического и протестантского Запада. <...> В одном древнерусском поучении читаем: «Богомерзостен пред богом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи — учиться астрономии и еллинским книгам; по своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения; люби простоту больше мудрости, не изыскай того, что выше тебя, не испытай того, что глубже тебя, а какое дано тебе от бога готовое учение, то и держи». В школьных прописях помещалось наставление: «Братия, не высокоумствуйте! Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читая, с мудрыми философами не бывая, философию ниже очима видех; учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов». Как писал про себя один древнерусский книжник: «не учен диалектике, риторике и философии, но разум христов в себе имею».

Началось с исправления церковных книг и некоторых обрядов. Затевалось оно как раз с целью утвердить новую, ведущую роль русского государства и русской церкви в православном мире и желанием, продолжив византийские каноны, создать единую московскую каноническую традицию и «во всеоружии» великого «ромейского» наследства противопоставить себя «растленному влиянию Запада». За основу были приняты первоисточники — образцы греческих церковных книг, а также бытующие в восточных православ-

ных общинах церковные обряды, в частности, крестное знамение троеперстием (вместо святоотеческого двоеперстного). Вот тут-то и нашла коса на камень: приверженцы старины, старообрядцы, ополчились на реформистов, которые были связаны с властью и властью поощряемы. А поскольку та уже была под подозрением в склонности к западным порядкам, раскольники и церковную реформу восприняли как ересь, притом губительную для «святоотеческой традиции», тем паче, что «власть» вообще не любили, и было за что.

(Замечу на полях, что инстинктивное и яростное, на протяжении всей истории, неприятие влияния «чужаков», как и самих чужаков, идет от той же детской травмы, нанесенной чужаками, навязавшими чужую веру. Отсюда и знаменитое русское мракобесие: закрыться, спрятаться, уйти в глухую оборону, не отдать наше заветное на поругание.)

В Раскол ушла часть церковных иерархов, консервативно настроенная аристократия и масса простого народа (всегда консервативная). Ключевский обвиняет Никона в возникшем ожесточении:

Уж в конце своего патриаршества в разговоре с покорившимся церкви противником Иваном Нероновым о старых и новоисправленных книгах он сказал: «И те, и другие добры; все равно, по коим хочешь, по тем и служишь...» Значит, дело было не в обряде, а в противлении церковной власти. (...) объяви Никон в самом начале дела всей церкви то же, что он сказал покорившемуся Неронову, не было бы и раскола.

Не могу согласиться: причиной Раскола было не упрямство во участников борьбы, а сам ее «предмет»: старое восстало на новое, «Русь заветная» — на западное. Ключевский и сам приводит авторитетное мнение протопопа Аввакума:

Аввакум видит источник церковной беды, постигшей Русь, в новых западных обычаях и в новых книгах: «Ох, бедная Русь! — восклицает он в одном сочинении, — что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?»

В сущности, это была первая гражданская война за самое важное для народа — самоопределение. Кто мы, русские, есть на этой земле, есть ли «идея» в нашем существовании, да и существуем ли мы? Как у нас в народе говорят: иудей, иудей, ты куда без идей? И ты знаешь, мы сейчас в Израиле переживаем такой же Раскол, и у нас идет гражданская война за идентичность: что значит быть израильтянином? Или это просто «еврей с государством», или какой-то «другой еврей», а если другой, то какой? Скажешь со смешком: так за три тысячи лет и не решились?

Вообще-то, общества это большие роевые организмы, как муравейники или пчелиные улья (так я это вижу). И у каждого свой «строй жизни». Он держится на единстве происхождения (все единокровные) или на общем идейном устремлении. Евреям в этом смысле повезло: у них общий родовой корень и общая религиозная жизнь. У европейских народов этого нет, у них и этнические корни перепутаны, и веру они, по крайней мере, один раз сменили (язычество на христианство). И они никогда не выберутся из комплекса неполноценности по отношению к евреям, и поэтому так их ненавидят. И всю дорогу, как гориллы, стучат себя кулаками в грудь, надуваясь величию силы. Но силы иссякнут, а с ними уйдет величие, и вослед рассеется самосознание. Этот печальный процесс мы ныне и наблюдаем. Европы больше нет, вместо нее — куча мала. Русскому в этом плане вдвойне тяжело, они и христианство получили из вторых рук, и этнического стержня нет. А чтобы жить, надо верить. А во что русскому человеку ве-

речь, когда у истока не преданья славной старины, а одни слезы детские, а сама религиозная вера связана намертво с поруганием? Но есть еще фактор, который до поры до времени как-то держит: общая история, общность воспоминаний, можно обозвать все это «культурой». Если общность, или государство, существует долго, оно обрастает историей, наполняющей паруса его жизни ветром времени, а траекторию этого движения многие принимают за идентичность. Мол, если есть путь, значит, есть цель. Но бывает, что бредут впотьмах, а бывает так, что первоначальный импульс — такой мощи, что общность, как ледокол, идет своим путем, ломая заторы.

В связи с ветром времени невольно вспоминаю, и не могу не процитировать Вальтера Беньямина:

У Клее есть картина под названием «Angelas Novus». На ней изображен ангел, выглядящий так, словно он готовится расстаться с чем-то, на что пристально смотрит. Глаза его широко раскрыты, рот округлен, а крылья расправлены. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Там, где для нас — цепь набегающих событий, там он видит сплошную катастрофу, непрерывно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки. Но шквальный ветер, несущийся из рая, наполняет его крылья с такой силой, что он уже не может их сложить. Ветер неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним поднимается к небу.

Его «Тезисы к пониманию истории» — замечательный поэтический текст, каждый тезис — стихотворение. Вот, например:

счастье, которое мы ждем, насквозь пропитано временем, в котором мы пребываем. Оно существует только в атмосфере, которой нам довелось дышать, у людей, с которыми мы могли бы беседовать, у женщин, которые могли бы нам отжаться. Счастье манит спасением. С представлением о прошлом, все обстоит точно так же. Прошлое несет в себе тайный указатель, оказывающий путь к спасению. А если так, то между нашим поколением и поколениями прошлого существует тайный уговор. Значит, нашего появления на земле ожидали. Значит нам, так же как и всякому предшествующему роду, сообщена мессианская сила, на которую притязает прошлое. Просто так от этого притязания не отмахнуться.

А вот русским прошлое не указывает на спасение. Это не мое злобное мнение, а горький вывод лучших русских мыслителей. И их (русских) появления никто не ждал, и поэтому все их мессианские притязания — блеф, или болезненные фантазии. Достоевский писал в «Идиоте»:

Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали». Обновление человечества в будущем совершится «одною только русской мыслью, русским Богом и Христом. Именно в России совершится новое пришествие Христово. Народ русский есть на всей земле единственный народ-богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога, — ему одному даны ключи жизни и нового слова, —

настоящий патриотический пароксизм. Но мне понравилось, как здраво ему ответил Е. Н. Трубецкой (кстати, брат Сергея Николаевича, у них есть еще брат, Петр, известный филолог) в работе «О старом и новом национальном мессианизме»:

Это истолкование во всех отношениях и со всякой точки зрения неприемлемо. Достоевский, который в самом деле думал, что мир должен быть спасен неведомым Западу русским Христом, увидел бы в признании немецкого и итальянского Христа полное ниспровержение своей веры в «народа-богоносца» и был бы прав, потому что весь смысл этой веры в том, что одному народу русскому «даны ключи жизни и нового слова».

Подлинный Христос — заключает Трубецкой, — соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы. Он везде, где собираются двое или трое во имя Его. Но кто же соберется во имя Христа русского? Он оттолкнет не только немцев и итальянцев, но даже и самих русских. ... Философ считает русский мессианский национализм иллюзией, которая умерла и не воскреснет. Я не говорю о тех бесчисленных посрамлениях, которым подвергалась и доселе подвергается русская государственность; ...потерпела крушение самая идея святой государственности. ...пала и последняя опора русского национального мессианизма. Теперь совершенно непонятно, на чем он держится. Да все на том же, уважаемый князь Евгений Николаевич, на военно-политической силе.

А Беньямин — волей-неволей тянет за собой, как бурлак в толпе бурлаков-гениев (рядом Кафка, Целан, Пруст, Сутин, Мандельштам) — тяжкий Ковчег Завета.

В каждую эпоху необходимо вновь пытаться вырвать традицию у конформизма, который стремится воцариться над нею. Мессия ведь приходит не только как избавитель; он приходит как победитель антихриста. Даром разжечь в прошлом искру надежды наделен лишь историк, проникнувшийся мыслью, что враг, если он одолеет, не пощадит и мертвых. А побеждать этот враг продолжает непрестанно.

И еще мне нравится его выражение «чесать историю против шерсти».

Но вернемся к Расколу. Реформа проводилась, как и принято на Руси: насилием. Проклятия, отлучения, лишения церковного сана, конфискация имущества, ссылка, посадение в яму, отрезание языка, носа, ушей, отсечение рук и, наконец, сожжение заживо. Тысячи были подвергнуты карательным мерам. В 1682 году, после сожжения Аввакума с поделщиками в Пустоозерске, в Москве была предпринята попытка реставрировать «старину» уже силовыми методами. Стрельцы дважды поднимали мятеж под лозунгами восстановления старых обычаев, но оба раза потерпели поражение. Реакция была жесткой. Вот один из указов царевны Софьи (1685 г.):

Если кто из старообрядцев перекрещивал крещеных в новой церкви и, если он даже и раскается, исповедуется в том отцу духовному и искренне пожелает причаститься, то его, исповедав и причастив, все-таки казнить смертью без всякого милосердия.

Людей сжигали, рубили им головы, ломали клещами ребра, четвертовали; убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей. По некоторым подсчетам, только за первые десятилетия Раскола убито было более сотни тысяч старообрядцев. Преследуемые бежали в пустыни, леса, в горы. Но и там их отыскивали, жилища разоряли, а самих приводили к духовным властям для увещаний, и, если они не изменяли старой вере, предавали мучениям и казням.

На что уповали раскольники, чего ожидали? Ждали Конца Света, на него надеялись. Хилиазм накладывался на мессианство, образуя горючую смесь... По мнению Бердяева («Русская идея»)

раскол 17 в. имел для всей русской истории гораздо большее значение, чем принято думать. ... С него начинается глубокое раздвоение в русской жизни и русской истории... Это кризис русской мессианской идеи. ... В основу раскола легло сомнение в том, что русское царство, Третий Рим, есть истинное православное царство. Раскольники почуяли измену в церкви и государстве, они перестали верить в святость иерархической власти в русском царстве. Сознание богооставленности царства было главным движущим мотивом раскола. Раскольники начали жить в Прошлом и будущем, но не в настоящем. Они вдохновлялись социально-апокалиптической утопией. Раскол был уходом из истории, потому что историей овладел князь этого мира, антихрист, проникший на вершины церкви и государства.

Но в результате Раскол, как считает Ключевский, подействовал *в пользу западного влияния, которым был вызван*. Еще царь Алексей Михайлович, отец Петра, избавился от Никона, забравшего в ходе этой борьбы слишком много инструментов власти, и этим закончилась политическая роль древнерусского духовенства. А стрелецкие мятежи 1682 года своей необузданной жестокостью на всю жизнь врезались в душу впечатлительного подростка, будущего императора. Старина, раскол и мятеж оказались неразрывно связанными в его сознании.

Учитывая масштаб Раскола, его ожесточение, живучесть и жизненную систему «подполья», можно представить себе сопротивление, которое языческий народ Руси оказал принудительному крещению, все ужасы тогдашних насилий!

Раскол закрепил «инстинкт» двоеверия, или религиозного двуличия, русские люди уже и прежде были к нему приучены: дабы избежать преследований, приходилось жить

двойной жизнью — ходили в официальную церковь, а тайно исповедовали раскольнические обряды и образ жизни. В еврейской истории известны марраны, крестившиеся под угрозой изгнания из Испании (на иврите их называют ану-сим, изнасилованные), но продолжавшие втайне исповедовать иудаизм. За ними гонялась Инквизиция. Не так ли жила и «инакомыслящая советская интеллигенция»: ходила на демонстрации и субботники, а на кухнях молилась на Запад и справляла свои тайные обряды протеста и недовольства? Помнишь это славное время?

Письмо седьмое

Мило, что ты вспомнила. Я тоже помню эту поездку в Истру, пыльные, полупустые вагоны электрички, твое лицо в окне, бегущее по Руси. Оно и сейчас передо мной. Ты сидишь напротив и читаешь Бунина, «Последнюю осень». Иногда отрываешься, смотришь в мои влюбленные глаза и улыбаешься. Поэтому — никаких фотографий, останемся молодыми. Хотя я тогда щелкал своей старой «Сменой», как сумасшедший. И у меня еще остались какие-то фотки полуразрушенного монастыря на жесткой, согнувшейся и выцветшей бумаге. Я всегда любил руины и их певцов, Пиранези, Гюбера Робера.

Коза пощипывает травку, раздробившую стены храма,
на самодельной дудочке играет пастушок,
пристроившись на сваленной колонне,
где письма победные стирает дождь и ветер.
По кладбищу эпох
гуляют путники, нездешние по виду.
Он и она.
Подыскивают жертвенник по чину
для жадных и бесплодных ритуалов.
Эстетствуют.

Но это уже другие ведуты, другое время, другая женщина. А у нас не получилось поэтествовать на мой вкус, ты все время будто ненавидела себя...

Между тем мы подошли ко второму «облому» в русской истории. Петр Великий, полный презрения и ненависти к русскому народу, движимый местью за опыт поругания, обретенный в собственном детстве, совершил изнасилование теперь уже недоросля, повторный слом русской идентичности, и ее окончательное растрепывание. Как пишет Константин Кавелин:

образованное русское меньшинство с небывалым самоотречением бросилось навстречу европейскому влиянию и идет по этому пути гораздо далее Петра Великого, до отступничества от всего родного, до забвения родины и самого языка.

Ключевые слова тут: самоотречение и отступничество. Настала вольница растрепывания, и многим даже понравилась. А за кого, за что цепляться-царапаться? Русская православная церковь была унижена, осмеяна и стала прислужницей власти. Страну батогами погнали на Запад, а Запад уже бурлил антиклерикализмом и поклонялся «великой красоте» античного мира. Скульпторы стали лепить голых баб, поэты запели про купидонов и афродит, а о Христе слагали с насмешкой, вспомним товарища Пушкина, писавшего о Богоматери с сознательно эпатажным, озорным богохульством, по сравнению с которым озорство «Пусси Райот» — детская забава. Пушкин, что характерно, и тут побежал с ватагой борзописцев впереди паровоза: ватага готова была не просто отвергнуть старую веру, но и надругаться над ней. И если рану Крещения народ зализывал веками, то новый разлад еще далеко не изжит (Октябрьская революция — эхо петровского растрепывания), да и незнамо к чему приведет. Вся русская история и культура после Петра — попытка «как-то жить» с этой новой открытой раной. По Кавелину:

Петр как будто еще жив и находится между нами. Мы до сих пор продолжаем относиться к нему как современники, любим его или не любим, превозносим выше небес или умаляем его заслуги; но число его поклонников редееет, а число порицателей растет, по мере того как мы выходим из поставленных им условий народной жизни, и пока новый наш исторический путь не обозначится вполне, мы все будем колебаться между старой и новой Россией, видеть в совершающемся то возврат к допетровской старине, то продолжение его реформы. ...В непосредственном, живом сознании мы все продолжаем как-то двоиться, и эта половинчатость лежит тяжелым камнем на всем нашем нравственном существе и деятельности.

И отметим, что хотя бороды на мордасах сбрили и платья немецкие на пузени боярские натянули, но от церкви, как организации по духовному обслуживанию населения, отказаться не решились, не дай Бог обручи у бочки полопаются, и останешься у разбитой емкости...

По Г. Флоровскому:

государство утверждает себя самое как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать и быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь. У Церкви не остается и не оставляется самостоятельного и независимого круга дел, — ибо государство все дела считает своими. Именно в этом вбирании всего в себя государственной властью и состоит замысел того «полицейского государства», которое заводит и учреждает в России Петр. ... Духовенство обращается в своеобразный служилый класс.

«Да и возможно ли церкви устоять в истине, — пишет Валентин Курбатов в предисловии к книге де Местра «Религия и нравы русских», —

когда государство летит на Запад и летит со времен Петра неостановимо, склоняясь в лучших умах к масонству, к безрелигиозному аскетизму, мистическому любопытству, а в умах «пониже» — к цветению сект, когда повсюду заводятся меннониты, молокане, скопцы, гернгутеры и хлысты?... Государи с Петра мечтают об объединении церквей (Петр грозит побить противников палкой). ...

Издатель А. Ф. Лабзин, воспитанный на Сен Мартене, Бёме и Фенелоне, потчует русского читателя расплывчатой всемирностью и «единой религией сердца», от которой действительно недалеко до того, чтобы «вообще покончить с религией».

Бердяев называет первого русского императора «большевик на троне».

Петр превратил Россию в жесткое тоталитарное государство, где гражданские и общественные учреждения Запада сменили рыхлую феодально-средневековую российскую власть и стали организационным каркасом яростной имперской агрессии, а заодно и — в сторону Запада — камуфляжем «просвещенности» и маскировкой захватнических имперских стремлений. Оппозиция этому рабовладельческому тоталитаризму возникала только в среде интеллигенции, менее связанной с государственными структурами и слишком серьезно воспринявшей вестернизацию, возмечтавшей за чтением сократов с вольтерами о более глубоких преобразованиях. Особо ретивые даже понесли вышеупомянутых «платонов и быстрых разумом ньютонов» в народ, да еще вкупе с Кантом, Шеллингом и Гегелем. И 19 век уже окончательно преобразовал правящую верхушку, административный, служилый и деловой класс в общество западной культуры. «Облом» случился капитальный и «новый исторический путь» как раз таки вполне обозначился: мы — Европа. А возникшая оппозиция была лишь выплеском возмущения «низкопоклонством перед Западом» и «перегибами на местах» по части бездумного подражательства, как у Грибоедова:

Французик из Бордо, надсаживая грудь,
Собрал вокруг себя род веча
И сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал — и нашел, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
....

Смешные, бритые, седые подбородки!
Как платья, волосы, так и умы коротки!..
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнания иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

Но были тут и глубоко спрятанные чувства обиды и унижения за пренебрежение к «традициям», но в отличие от подобных мук унижения при Крещении, они теперь получили голос, впрочем, робкий и услужливый, а главное — не предлагавший идейных альтернатив. Речь шла только о том: пришпорить бегство на Запад (декабристы), или притормозить.

Естественно, решили притормозить, поскольку одну, важнейшую русскую традицию Петр продолжил и укрепил: самодержавие. Но «облом» стал новым расколом, и закрепил еще одну «традицию» — двоеверие и двусмысленность русской жизни. Общество раздвоилось на западную по культуре правящую элиту, во многом иноземную, и «народ», с глухим упорством державшийся неопределенных «старых обычаев», включая недобитый и ушедший в подполье старый Раскол — повторилась ситуация в эпоху Крещения. А церковь окончательно стала обслугой власти. А разве не ради этого и сотворили Крещение?

В книге де Местра «Религия и нравы русских» есть несколько забавных анекдотов из его дневника о «религиозности» русских в начале 19 века:

Иногда русские помещики устраивают в своих владениях нечто наподобие театра и заставляют играть в нем своих камердинеров и лакеев, а то и приходского священника. Граф Румянцев рассказывал: «В настоящее время в одном из моих имений разыгрывают те же самые скабрёзности, которые здесь играют на театре. Главный актер — наш священник». На мое удивление он ответил:

— А что прикажете делать, приходится иногда их поколачивать. (12.6.1804)

(из *гвардейской службы*) Однажды на праздник Пасхи пришли чтобы повести в церковь. Один завтракал, другой был пьян и т.д. Солдаты! К причастию шагом марш! (27.3.1810)

А вот из записей графа де Босси, служившего при Екатерине:

Верно, что незаметно превращенная почти что в один только внешний обряд, религия в России не имеет особой нужды в священниках. ...Не столько составляя в нравственности, сколько заправляя совершением обрядов и вынужденные в основном общаться с низами, мало ученые и плохо оплачиваемые, они живут среди народа, и их жизнь обычно слишком мало являет из себя некий назидательный пример; как только они совлекают с себя свои ризы, тот же самый народ, который простирался перед ними и целовал край их рясы у алтаря, видит в них только соучастников своих самых грубых забав, и если бы он отважился вне стен храма пуститься в велеречивые рассуждения на какие-либо темы, не связанные с его служением, мы вполне могли бы принять его за комедианта...

Вместе с «европой» в России завели и «философию», чтоб все как у людей, но греческий тип философа, одиночки и «гения среди толпы» не прижился. Разве что появлялся ино-

гда у масонов (Новиков, Радищев, Чаадаев). Что касемо церкви, то и на пике энтузиазма эпохи реформ Александра Благословенного и великой победы над Наполеоном церковь не только не являла собой назидательный пример и не видела своей задачи в просвещении дворянской молодежи (о крестьянах и не говорю), тем более в духе античной философии, а задачей своей считала воспитание преданности власти. Да что церковь, почти вся «просвещенная» дворянская интеллигенция пела гимны самодержавию, как оплоту жизни, без него русское государство не только не могло существовать, не могло даже помыслиться. Карамзин, апостол цивилизации и просвещения, «подаривший России ее историю», пишет Александру Первому в 1811 году «Записку о древней и новой России» (ходила в самиздате, а целиком была опубликована только в 1861 году в Берлине — такой вот диссидентский текст), где выражает опасения по поводу неконтролируемого распространения просвещения, Карамзин даже позволяет себе критиковать Петра Великого:

Восторги по поводу западных идей, презрение к самим себе, отвращение к собственному прошлому были привнесены в Россию неразумными действиями Петра Великого; они начали угрожать самому существованию Империи. Смогут ли они защитить его в будущей войне? История России, величие которой неведомо самим русским, которой они пренебрегают, хотя должны были бы ею гордиться, — разве она не показывает, что лишь верность своим владыкам, своим князьям и царям, спасала страну в тяжелейших бедствиях? ... История России есть история ее династий, история самого монархического начала; каждое покушение на абсолютную власть ведет здесь к беде. ... А потому не следует с неразумной поспешностью касаться самых основ, о силе и славе которых свидетельствует многовековая традиция. Следует избегать крайностей,

но никак нельзя заносить руку на абсолютную власть, на общественную иерархию, на права и привилегии дворянства, на крепостное право — нет нужды подражать людям Запада!

Его крылатое выражение: «История России есть история ее династий» вызывает в памяти Древний Египет. Вот и Мандельштам видел Россию Египтом:

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

Это из последних стихотворений, весна 1937-го... Да вся «Египетская марка» об этом.

А вот еще из той же оперы Карамзина, цитирую по замечательной книге Александра Койре «Философия и национальная проблема России» (недавно прочитал и горячо рекомендую):

И, славя славное в сем монархе [Петре], оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования? ... Сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия ... Искореня древние навыки, представляя их смешными, хваля и вознося иностранные, государь России унижал россиян в собственном их сердце...

Возмутил Карамзина и запрет Петра на ношение бороды, позднее славянофилы уж было отвоевали бороду, как знак «возврата к народу», «к глубинным истокам народной жизни», но Николай I в 1846 вновь запретил ношение бороды специальным указом как «несовместимое с дворянским достоинством».

Поцитирую еще немного Карамзина, не могу себе отказать в мазохистском удовольствии:

...всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости. ... Россия же существует около 1000 лет и в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских!.. (...) Самодержавие есть палладиум России; целость его необходима для ее счастья; (...) дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную (над рабами), он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена — удержит ли?.. Падение страшно.

В этом инфантильном «причаливании» к образу Отца-защитника есть, конечно, стремление поддержать Отца (у Мандельштама: «Не огорчить отца// Недобрым образом или мысли недобором»), как орудие класса, обеспечивающего господство не только над своими рабами, но и над всей Европой, но есть и выражение затаенной детской травмы. И есть глубокое, скрытое чувство религиозной опустошенности. Религиозные искания ушли в подполье, в масонство. Бердяев считает масонство 18 века

единственным духовно-общественным движением, ... первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью. ... Лучшие русские люди были масонами. Первоначальная русская литература имела связь с масонством.

Екатерина прикрыла масонские ложи еще в 1783 году, и они превратились в «тайные общества», некоторые — с революционной окраской.

При всем при том воодушевление победами над Наполеоном выплескивалось из берегов. Они породили чувство интимной близости с Европой и превосходства над ней

(догнали и перегнали). Сергея Николаевича Глинку, автора известных «Записок», так и распирает пылкий патриотизм и умиление доброй стариной:

это счастливое время, когда наши предки, живя в страхе перед Господом и сохраняя еще простоту нравов, все свои моральные представления черпали у праотцов и в священных книгах и не предавались спорам о бесконечном прогрессе познания и человеческого разума, а просто стремились выполнить свой долг людей, граждан и христиан.

Забавно, что Глинка, как отмечает А. Койре, представляет себе прошлое

не иначе как в известных ему цветах и формах идеализированной псевдоантичности 18 в. Факты, историческая реальность интересовали его в самой малой мере.

Уже в эпоху Рюрика и первых варяжских князей, — пишет он, — ни одна европейская страна своими моральными и политическими устоями не возвышалась над Россией, и, несмотря на бедственные последствия татарского ига, древняя Русь до правления и реформ Алексея I и Петра Великого наверняка ни в чем не уступала Западу — ни политическими институтами, ни законодательством, ни чистотой нравов, ни укладом семейным; вообще она имела все, что требуется для счастья народа... Философский дух был широко распространен... и предки наши не уступали Сократу...

А Ермака Глинка сравнивает со Сципионом Африканским.

Вместе с чувством превосходства над Европой явилось и безразличное желание отгородиться от всякой, веющей оттуда, заразы. М. Л. Магницкий, симбирский губернатор и попечитель Казанского учебного округа считает, что:

Счастлива была бы Россия, ежели бы можно было так оградить ее от Европы, что и слух происходящих там неистовств не достигал до нее. Благоразумная цензура, соединенная с утверждением народного воспитания на вере, есть единый оплот бездне, затопляющей Европу неверием и развратом.

Позднее тот же Магницкий в статье «Судьба России» продолжает развивать идею «ограждения» от Европы: ...

угнетение татарское и удаленность от Западной Европы были, может быть, величайшими благоденствиями для России, ибо сохранили в ней чистоту веры Христовой...

Койре приводит и другое «знаменитое» высказывание Магницкого: *Основы философии Шеллинга — вольнодумство и разврат*. А по словам профессора истории Санкт-Петербургского университета де Гуров,

рост безбожия и угроза цивилизации и общественному порядку были остановлены Священным Союзом, который возжег истинный свет, а потому правительства поспешили наложить запрет на преподавание пагубных учений. Всеобщая история должна преподаваться таким образом, дабы при этом всякий раз демонстрировалось бы превосходство монархии над любым другим видом правления...

А. Койре так подытоживает гонения на философию в России во втором десятилетии 19 века при царе-реформаторе Александре Первом:

В России на философию никогда не смотрели доброжелательно: чужеземный продукт, недавно завезенный в страну, где для нее не было изначальных условий и самых существенных факторов роста, фи-

лософия влачила жалкое существование. Иной раз ею увлекались, но широкое увлечение никогда не было глубоким, зависело от переменчивости моды; иногда ее считали подозрительной, зачастую опасной и всегда совершенно бесполезной.

Реальный и живой интерес был только к одному вопросу: кто мы такие есть. По Бердяеву («Русская идея»),

русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба. Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории? Весь 19 в. и даже 20 в. будут у нас споры о том, каковы пути России. И наша историософическая мысль будет протекать в атмосфере глубокого пессимизма в отношении к прошлому и особенно настоящему России и оптимистической веры и надежды в отношении к будущему.

Характерный пример — А.С. Хомяков, настоящий Z-патриот: конногвардеец (по выражению Герцена «он как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный»), поэт, богослов, публицист, а чернуху порой гонит круче Чаадаева:

Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправоудие, разбой, крамолы, личности, угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте жизни народной, ни на одной эпохе утешительной и, обращаясь к настоящему времени, радуется пышной картине, представляемой нашим отечеством. Взгрустнется поневоле.

Впрочем, Хомяков не унывает, и тут же рисует противоположную картину:

Что делать с песнями, в которых воспевается быт крестьянский? Что с равенством, почти совершенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степени службы государственной и достигать высших званий и почестей? Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые злые враги древности русской должны ей отдать в сем отношении преимущество перед народами западными. И суды присяжных у нас, и чуть ли не республика: ...дружба власти с народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее Михайловиче, собирать депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных. Наконец, свобода чистой и просвещенной церкви является в целом ряде святителей, в уважении не только русских, но и иноземцев к начальникам нашего духовенства, в богатстве библиотек патриаршеских и митрополических, в книгах духовных, в спорах богословских, особенно в отпоре, данном нашей церковью церкви Римской (*статья «О старом и новом»*).

Вот, что ему важно: *«распространение России»* и *«отпор церкви Римской»*, т.е. Западу. И следует главное вопрошание: Что лучше, старая или новая Россия? Оба хуже, как говорил тов. Сталин в докладе 14-му съезду ЦК РКП(б) в 1925 году о «правом» и «левом» уклоне в партии. Что-то инфантильное в этой «философии» от Хомякова до Бердяева, боязнь додумать до конца, во всегдашней уверенности «в великом будущем России». Вот и князь Е.Н. Трубецкой о том же:

Смирненное покаяние в грехах, самоуничужение, национальное смирение чередуются у Хомякова с «гром победы, раздавайся». Хомяков хочет уверить,

что русский народ — не воинственный, но сам он, типичный русский человек, был полон воинственного духа, и это было пленительно в нем. Он отвергал соблазн империализма, но в то же время хотел господства России не только над славянством, но и над миром.

Герцен в письме к Мишле защищает русский народ по той же навязшей на зубах формуле: прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, остается вера в будущее. И русские весь 19 век умилялись своими самоотверженными поисками «русской идеи» и обещанным (кем?) великим будущим. Герцен писал:

Где, в каком углу современного Запада найдете вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?

Предвижу твои возражения: «а где же Пушкин»? Я не буду сейчас вдаваться в хитросплетения его личности или творчества, замечу только, что культ его личности просто нелеп, что характерно. А. Ф. Лосев, называл его шпаной:

с декабристами путался, а они его считали хлыщом, ненадежным. Он нигде никогда по-настоящему не служил, финтил, метался, менял увлечения... Это шпана. Выродившееся дворянство. ... стишки, две-три поэмки, читать нечего Над всем издевается. Ленский — так он над романтизмом Ленского издевается. Отвратительное произведение, «Евгений Онегин», отвратительное. Кроме Татьяны, всё остальное пошлятина. Безобразие. Ну, «Борис Годунов» конечно классика, серьезная вещь. Но опять же: тема взята не по плечу, тема шекспировская, а что там шекспировского? И так всё. Или быт, или пошлость, или наплевизм (из записей В.В. Бибихина).

Лосев, конечно, савонарола эдакий, но где-то прав. По мне так и стишок Пушкина «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю, я смело чувства выражаю» — отвратительные по своему дешевому раболепию вирши. А ты читала его «Записку о народном воспитании»? Он там против «домашнего воспитания» (в индивидуальном порядке бог знает чему научат), а непременно за казенное, и даже казарменное:

Ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке. Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют большего присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении. Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников; доносы других должны быть оставлены без исследования и даже подвергаться наказанию [допустимы только доносы «лучших воспитанников»]; чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание [чья бы корова мычала]; за возмутительную — исключение из училища.. Ну и т.д.

Однако, я не о том. Пушкин важен тем, что это уже новая Россия, человек западной культуры, и знаменует появление в России литературы именно в западном смысле, индивидуалистическом, а это уже свобода, пусть хотя бы только внутренняя (она — самая главная). И таким стало все это поколение. То есть оно тут же, конечно, разделилось, «свободные» потекли в тайные общества, а рабы в натуре — в патриотизм, поближе к папочке, к власти. А поскольку ветер свободы дул из Европы, то возникло, одобряемое властью, мощное движение против «европеизма», назад, к корням-

устоям-скрепам, те же славянофилы и т.д. Кстати, Онегин, главный герой русской литературы, — типаж вполне себе консервативный (просвещенный ретроград), и в этом смысле не случайно убивает юношу западной выучки («с душою прямо Геттингенской, поклонник Канта»). А за что убивает? За то, что в Ленском нет русского двоемыслия, русского лицемерия, то есть за наивность (как Печорин Грушницкого). В России наивные прописаны в квартале идиотов и не выживают. Растленные любят своих растлителей и ненавидят «девственников» как немой укор.

Чувствую, обвинишь меня в очернительстве и русофобии. Признаюсь (чтобы недоговоренность не послужила аргументом против моих взглядов): я не люблю Россию. Комплексы недобитой наивности. А что, заметно?

Письмо восьмое

У нас еще лето, хотя конец октября на дворе. И море теплое, но купаться неохота, так, гуляю иногда, весь в думах о татаро-монгольском иге. Это хорошо, что ты про него напомнила, мол, пропустил важнейший эпизод русской истории. Да, пропустил, оно (иго сиё) ничего не меняет в моем концепте «Русь — дитя поруганное». Что касается «ига», то я склонен придерживаться концепции Льва Гумилева, суть ее в том, что эпоха Орды была скорее благостна для Руси, чем вредна. Конечно, князья попали в некоторую «зависимость», но народу — пофиг, он от своих князей натерпелся «национальной независимости», а Орда давала «зонтик безопасности», войн стало меньше, а значит, экономика росла и процветала, кстати, налог монголы брали умеренный, десятину (а свои драли четверть), более того, думаю, что и произвол князей поутих — над ними была теперь старшая (и страшная) власть, и религию не притесняли. Внутреннее устройство Орды было весьма организованным и дисциплинированным (Чингисхан постарался), и она, как

ранее Хазария, отличалась веротерпимостью, в столице Золотой Орды были даже православная и католическая епархии. Язычники вообще веротерпимы: богов много, на всех хватит. Так что и ко всяким «чужим» богам отношение уважительное. Убить легко могут, но религию не будут навязывать. Сами-то монголы верили в Великое Вечное Небо, эрхэт менх тэнгэр. Некоторые считают, что в Орде была даже идейно-политическая борьба между православием и исламом, но ислам, в конце концов, победил. Я думаю, что у хана Узбека, который «обесерменился», был тот же выбор, что и у Владимира Крестителя: пора было империи (кстати, весьма процветающей) «приобрести универсальные измерения». И полагаю, что ислам не вводился сразу, повсеместно и жестко, тем более Узбек выбрал его наиболее терпимую и синкретическую форму — суфизм. Но все равно этот выбор встретил неизбежное сопротивление, по Семеновской летописи вожди племен сказали хану: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру арабов?» Ну и, конечно, пошла секим-башка, ислам укреплялся, и, возможно, на этой почве произошло постепенное отдаление русских земель и выделение их в самостоятельную орду.

А до этого, как мне представляется, существовал некий русско-татарский симбиоз, он затем, уже под властью русских царей, и продолжился. Как у Мандельштама: *Татарские сверкающие спины... // Здравствуй, здравствуй, // Могучий некрещёный позвоночник, // С которым проживем не век, не два!..* И вообще, «Орда» была всегда, от Черного моря до Тихого океана еще с 6-го века простирались огромные степные «каганаты», конгломераты тюркских кочевых племен, предпоследней была Золотая Орда, последней — Московская. И даже такой проповедник православной теократии как Владимир Соловьев в какой-то мере пленялся этой русско-монгольской «идеей»:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно.

Когда в растленной Византии
Остыл Божественный алтарь
И отреклся от Мессии
Иерей и князь, народ и царь, —

Тогда он поднял от Востока
Народ безвестный и чужой,
И под орудьем тяжким рока
Во прах склонился Рим второй.

Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.

Пусть так! Орудий Божьей кары
Запас еще не истощен,
Готовит новые удары
Рой пробудившихся племен.

От вод малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

1 октября 1894

А вот на ту же тему современная песенка некоего Андрея Григорьева (частично):

Ведическим образом мысли
Владели волхвы на Руси,
Бог Тарх помогал людям в жизни,
Сестра его Тара — в любви.

Отсюда и слово «Тартара»,
Поздней превратилось в Тартар,
Монголы об иге не знали,
И их никто тоже не знал.

В Тартарии люди умели
Читать и писать письма,мена,
Религий они не терпели,
От жизни вся правда была.

Религии греческой догмы
Кровавый Владимир принес,
И кровью овраги заполнил,
Три четверти русских унес.

Ну, русских при Владимире еще не было, но — шутка
ведь, а со скомороха не спросишь.

Однако вернемся в Россию 19 века.

Страх русских хранителей старины перед западной свободой мысли («распущенностью») оправдался (как оправдался страх коммунистов-охранителей перед перестройкой-гласностью Горбачева — все рухнет!). Даже с той малень-

кой и высочайше дозволенной и дозированной свободой началась журнальная усобица, диссидентство, смута веры и неуверенность в пути, и литература, литература, а с ней открытость иным культурам и временам, рефлексия, поиск корней, осмысление и переосмысление, и — тут как тут — дерзкие смельчаки запели: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», «как сладостно отчизну ненавидеть» и всякое такое. Ох, не зря В. В. Розанов обронил в «Апокалипсисе нашего времени»: «Россию убила литература». Разлад, внесенный в русскую жизнь Петром, не скрадывался победным шествием западной культуры с его, по Мандельштаму, «высоким пафосом утилитаризма», наоборот, разлад в душевном строе углублялся и расширялся, грозя раздраем и распадом. Возникший спор о «русском пути» был не только общественно-политическим, но в сердцевине своей религиозным. Причем вектор западников вел, как и на Западе, к отмиранию не только христианства, но и всех видов религиозных представлений, превращая их в декорации театра общественной жизни, а у славянофилов энергия устремилась «к истокам», причем не только христианским, но и славянским, т.е. языческим, образуя порой нелепые, нежизнеспособные конфигурации. Благо такое «возвращение» уже давно цвело в Европе романтической модой на дохристианскую старину, сменившей боевой антиклерикализм эпохи Просвещения. И в русском «состоянии духа» с середины 19 века нарастает беспокойство, глубокое недовольство, религиозная смута. Это поразительно, насколько русский патриот, славянофил, монархист Кавелин преисполнен глубокого неудовлетворения русской духовной жизнью!

Где источник этой умственной немощи? Толстый слой предрассудков, в которых мы не отдаем себе отчета, присутствия которого даже не подозреваем, мешает нам понимать себя... мы не привыкли думать и,

принимая чужие мысли за свои, не выходим из духовного малолетства. Оттого наш собственный опыт остается непродуманным и жизнь наша есть стихийная, неосмысленная. Наши взгляды, убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей истории, приняты целиком от других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшего с настоящим, и все, что ни говорим, ни думаем, так бесплодно, в таком вопиющем разладе с совершающимися фактами и с ходом нашей истории. ... Наша умственная апатия и бессилие так же стары, как мы сами. С тех пор как мы себя помним, наша мысль всегда была в плену, находилась в вечной кабале...

И т.д. и т. п. Вот еще до кучи из «Дневника» Никитенко, тоже был вполне государственный человек, цензор, академик:

Печальное зрелище представляет наше современное общество. В нем ни великодушных стремлений, ни правосудия, ни простоты, ни чести в нравах, словом, — ничего, свидетельствующего о здоровом, естественном и энергичном развитии нравственных сил... Общественный разврат так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или признаком романтической восторженности... Образованность наша — одно лицемерие... Зачем заботиться о приобретении познаний, когда наша жизнь и общество в противоборстве со всеми великими идеями и истинами, когда всякое покушение осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добре, о пользе общей клеймится и преследуется, как преступление?» «Везде насилия и насилия, стеснения и ограничения, — нигде простора бедному русскому духу. Когда же этому конец?» «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?» В последней записи «Дневника» написано: «Страшная эпоха для России, в которой мы живем и не видим никакого выхода».

Когда читаешь переписку середины века, Белинского с Боткиным, или Печерина с Герценом, поражает накал страстей, его иначе как религиозным не назовешь, это истступление богоискательства, отчаяние потерявших веру, потерявших все указатели движения, жизнь срочно требовала осмысления (как тут не вспомнить анекдот про Белинского после одной из пламенных сходов: «Куда же вы, мы еще не решили вопрос о Боге!»). И в сердцевине всего, даже у махрового славянофила Хомякова сидит страх погребенной тайны:

Не говорите: «То бывшее,
То старина, то грех отцов;
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».

Нет, этот грех — он вечно с вами,
Он в ваших жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами —
Сердцами, мёртвыми к любви.

И вот является великий писатель, и все сразу ощущают, что это русский медиум и преклоняются перед ним за его пламенеющую религиозность, за глубину проникновения в русскую душу, неистово чающую спасения, и он, как в бреду припадка, полусознанно выбалтывает великую тайну: в сердцевине русской души сидит ужас и стыд детской травмы растления. Вот что пишет Н.Н. Страхов Льву Толстому в 1883 году:

Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герои Записок из подполья, Свидригайлов в

Прест[уплении] и Наказании] и Ставрогин в Бесах; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости.

Не знаю, где там Страхов углядел «благородство», но не в этом дело. А в том, что верно подметил: растление малолетней — центральный мотив романов Достоевского. Тут и Свидригайлов в «Преступлении и наказании», и Ставрогин в «Бесах», и Настасья Филипповна в «Идиоте», отроковицей взятая в содержанки и ставшая по воле автора метафорой поруганной и мятущейся России. И в «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевский неожиданно «срывается» и выдает потаенное:

Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка.

И поэтому «слезинка ребенка» и радения за униженных и оскорбленных — нервный центр его мира, к гуманизму, кстати, никакого отношения не имеющий. И дело не в личных качествах или особенностях биографии: для медиума необязательно быть свидетелем или участником, достаточно ясновидения, а писателю и мыслителю — прозорливости (вот, для иллюстрации сказанного, цитатка из мемуаров Иеронима Ясинского «Роман моей жизни»:

не нужно непременно напиваться в кабаках или развратничать в публичных домах, для исследования степени падения человека! И разве Достоевский уби-

вал старух, чтобы описать преступление Раскольникова, или, в самом деле, насиловал крохотных девочек, чтобы выверотить наизнанку душу Ставрогина или Свидригайлова? В то время для этого достаточно было пройти в Петербурге по Пассажу, где сводни открыто предлагали крошек).

Вспоминается по этому поводу сексуальная биография Чайковского, пользовавшего восьмилетнего воспитанника своего брата Модеста, с братом на пару (отрок был глухонемой), и племянника-подростка Владимира Давыдова, тут особо отвратительно — старания озабоченных защитой чести и величия России затолкать гейские-житейские дела великого композитора в темный угол.

Царство Достоевского — царство русской тьмы, где «улиц перекошенных чуланы», упыри и недотыкомки, и «выбегают из углов угланы». Где-то в освещенных домах умники спорят о путях развития, но бородавчатая темь прячет страшную русскую тайну, которая не хочет выйти на свет и не дает свету спуститься в свою яму.

Русский человек, в массе своей, все еще архаичен по душевному строю, суеверно религиозен, и как бы он ни был остр и хваток умом, его не пленяют «умствования», ему нужна вера. И, по сути, Россия к середине 19 века вернулась к ситуации выбора веры, в среде деятелей культуры (и не только) развернулся мучительный поиск религиозной основы. Вот только мучения эти были трагически неразрешимы, религию-веру нельзя «придумать», и нельзя «выбрать». И поэтому О. Павел Флоренский, гениальный русский мыслитель и духовидец, причастный «тайнам рода», пишет своему визави и духовному брату В. В. Розанову (письмо от 28.5.1910):

Рок навис над нашим родом. И если в нас видеть что-то своеобразное, то, правильнее всего, не есть ли это не более, как обреченность.

Письмо девятое

Да, я знаю, что в жизни почти каждой девочки случается в детстве, или в подростковом возрасте, что-то гаденькое, почти все мне это рассказывали в минуты последних (постельных) откровений, некоторые счастливо забывали страшное и по-прежнему щебетали по жизни, у других это поменяло весь ее строй. И у мальчиков это встречается. Я вот на днях посмотрел очень странный российский телесериал «Хрустальный», режиссер Душан Глигоров, странен он тем, что его главная тема: изнасилование детей и подростков, в том числе и групповое, а если шире — насилие, как образ жизни на Руси, ее модус вивенди. Шекспир отдыхает. Есть и «украинский след» — а куда деться. Вот выписка из Википедии:

автор идеи и сценарист Олег Маловичко положил в основу сериала свой травматичный детский опыт. Название сериала родилось из новости, что его родной городок Красный Луч в Луганской области переименовали в Хрустальный. По его словам, «поразил контраст этого названия — очень хрупкого, очень светлого, очень воздушного — с тем, что переименование произошло в результате войны на юго-востоке Украины. Мне кажется, в этом была попытка замести под ковёр природу этого места — теперь мы хрустальные, и ничего до этого не было».

О твоей истории ты мне не поведала, хотя я подозревал (как инженер человеческих душ) в твоей пугливости и замкнутости какую-то исходную травму. И вообще, в нашем общении я был главный говорун, вот и сейчас, через сколько лет, мне еще хочется говорить с тобой, как и тебе, так мне кажется. Так что в нашем «романе» много недоговоренностей... А ведь разговор — это форма секса. Все, в общем-то, форма секса, но желание разговаривать, рассказывать о соб-

ственной жизни — глубже интима и не придумаешь. А тогдашняя твоя пугливость мне нравилась, хотя «идеологически» она меня раздражала, я приписывал ее строгости твоего воспитания, семейной набожности, а я любил свободных и смелых, а потом ты так неожиданно вышла замуж за этого здоровяка... Меня не смутило, и даже не обидело, что вышла, я ведь и сам был «глубоко женат», отцом семейства, и собирался отчаливать, но меня смутил твой выбор: этот здоровенный простак. Может, я испугался его, как зверя-соперника? Потом, от наших общих друзей дошли слухи, что ты родила, а потом — неожиданно развелась, и ушла по семейной традиции в набожность. А потом ты говорила, что хотела от меня защититься, не впасть в рабство... И я думал, что ты права, и все, в общем-то, просто: я ведь хотел «легких» отношений, без обязательств (свобода, смелость), а ты «по легкому» не могла, или не захотела, а я был тот еще типчик, судя по фотографиям: в длинном плаще, воротник поднят, наглая кривая ухмылочка... У нас сейчас, кстати, осенние праздники, Рош Ашана — еврейский Новый год, потом Йом Кипур, День покаяния, вчера был, так что самое время просить прощения. Всем, кому должен, прощаю...

Ладно, продолжим нашу историческую эпопею.

Итак, уже Александр Великолепный притормозил «разгул просвещения» и всяческую либерализацию. [Я когда-то, читая мемуары М. И. Жихарева о Чаадаеве заинтересовался эпизодом его отставки, и на основании этого эпизода даже решил, что Александр был гомосексуалом, точнее — бисексуалом, и вообще — я тогда «занимался» декабристами — , этот царь нарисовался отвратным типчиком, его звали «амуром», но он был «фригиден», считается, что страдал нарциссизмом, но, может, Наполеон не зря говорил о нем: «Александр — самый красивый мужчина, который живет на земле. Обидно, что гей...», а Наполеон должен был быть в курсе, и тут не только данные разведки, но и настоящий инсайд: Александр крутил шуры-муры с его женой, Жозе-

финой Богарне, может, тоже хотел что-то выпытать. Пушкин, кстати, ненавидел его смертной ненавистью, подозреваю, что и тут было что-то личное и скабрезное.] А Николай Палкин решил опереться на придуманные по случаю исконно-посконные скрепы: самодержавие-православие-народность. У двух ножек этого треножника уже вышел срок годности: самодержавие — подпорка, костыль для битых; православие — система обрядов неясного содержания, в лучшем случае привычка (Бердяев называет русскую веру «обрядо-верием»), а для некоторых «идеологов» — удочка, которой пытались выудить «вселенское предназначение России». Даже Чаадаев срывается:

У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество».

«Словом, Чаадаев проникается русской мессианской идеей, — пишет Бердяев в «Русской идее», и продолжает: «После народа еврейского русскому народу наиболее свойственна мессианская идея, она проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма». Получается, что русские жить не могут без призванности, похоже, что она заменяет им избранность. А все — дабы спасти третью «ножку» треноги — народность. Шо це таке — сам черт не разберет. В чем собственно заключается принадлежность к русской народности, в чем суть русской идентичности, что такое «быть русским»? Русская нация уже существует, или мы только на подступах к ее формированию? А может, это вообще химера? Вопрос нешуточный для любого народа, как и для каждого человека — вопрос самоопределения. Некоторые утверждают, что понятие «нация» возникло после Французской революции как надуманная скрепа для

удержания государственных рамок. Поскольку христианская вера в Европе скисла, то сочинили идеологию государственной общности на базе этнокультурного и экономического объединения. Вот и Россия в середине 19-го века придумала свою, триединую национальную платформу. И Иосиф Виссарионович не случайно трудился над этой серьезной темой («Марксизм и национальный вопрос»), и его пост наркома по делам национальностей в самом начале революции был не второстепенной синекурой, а поручением решить важнейшую проблему переродившейся империи. Но это уже эпоха «третьего облома», не буду забежать вперед, да и копаться в сталинском определении из пяти пунктов (*Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры*) не хочется. Тут главное и неоспоримое слово: общность — встать на глыбу слова «мы» среди моря свиста и негодования. И так уж «исторически сложилось», такой мощный вектор движения задал Петр — в Европу, что мыслители «русской идеи» смогли придумать только апофатический ответ: мы — не Европа. Ну, хотя бы потому, что «Европа» уже есть, а идти во след западло, мы же «чего-нибудь особенного». И, конечно, русский человек определяет себя как «не еврей». [А вот христианам не западло было утверждать, что приняв Христа, они и есть настоящие иудеи (теория замещения).]

У Достоевского своя версия (ария Версилова):

Один лишь русский ...получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех... Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более. Нельзя более

любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусства, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим... Одна Россия живет не для себя, вот почти уже столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы.

О том же поет и Иван Карамазов в опере «Братья Карамазовы»:

Я хочу в Европу съездить, и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними — в то же время убежденный всем сердцем своим в том, что все это уже давно кладбище и никак не более.

Так вот почему Достоевский возвращается к идее европеизма 20-х годов (Киреевский тогда издавал журнал «Европеец», а Пушкин с Вяземским «обзывали» друг друга «европейцами», потом, правда, власти журнал прикрыли, а Киреевский перешел в славянофилы) — Европы больше нет, теперь мы — Европа!

Итак, Россия, взяв у Европы все лучшее, призвана ее возглавить, в этом была суть новой цивилизационной идеи, которая стала складываться в среде патриотической интеллигенции после победы над Наполеоном. А. Койре, характеризуя блестящее русское юношество 20-х годов («и русских первенцев блистательные споры»), пишет:

Проблема отношений с Западом виделась им в другом свете: речь шла уже не о противопоставлении русского варварства и европейской цивилизации, но об установлении отношений между цивилизацией русской и цивилизацией Запада. Но разве сами они не были до мозга костей пропитаны европейской цивилизацией, разве они не чувствовали себя в Европе как дома? Разве они не были Европейцами? Своей миссией, своей исторической задачей они считали не перенесение западной цивилизации в Россию, но обоснование и выражение новой цивилизации, призванной занять почетное место рядом с западными нациями ... нести дальше врученный ей факел. Разумеется, чтобы приниматься за дела такого масштаба, юные философы должны были обладать немалой дозой самоуверенной и счастливой наивности.

Проблема с «третьим путем», с супер-Европой была в том, что тут не было ни капли религии, даже ни капли философии, сплошная геополитика, а в качестве таковой это была «короткая идея» (до Константинополя и обратно, «вот-вот проливы будут наши», как сказал поэт Анри Волохонский, правда, по другому поводу, «по случаю эвакуации Бейрута»), и слишком простая, имперская: подмять под себя. Но для русских она обрела значение доказательства их предназначения: если подомнем под себя, значит, верен наш путь. (Потом говорили: учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и доказывали силой.) То есть, по сути, «цивилизация» (исторический путь) определялась географически, теми землями, что завоеваны и еще завоеuem. Отними у русского кусок земли — будто отрезал что-то от души, от русской идеи.

Замечательны в этом плане фантазийные политические статьи Ф. И. Тютчева. Изложу суть, опираясь на обзор-анализ этих статей В. Л. Цымбурского («Тютчев как геополитик») под эпитафией «Wir wollen nur existieren», что означает: «мы хотим только существовать». (Все статьи написаны

по-немецки, и получили широкую огласку на Западе. Тютчев дружил с канцлером Горчаковым и считался его советником и «серым кардиналом».) Цымбурский пишет о *гипертрофии географического символизма в нашей истории*, и что *геополитический замес ощутим во всей нашей национальной философии культуры и истории*, а *вся русская духовность великоимперской эпохи в огромной мере зациклена на непрестанном самоопределении русских относительно платформ Европы и Азии*.

Тютчев видит будущую историю в таком порядке: *разложение европейского международного порядка — его взрыв — его будущая перестройка Россией*. Под «разложением» понималось революционное движение, а «перестройка», которую возглавит Россия, должна быть, естественно, консервативной.

Россия защищает не собственные интересы, а великий принцип власти... Но... если власть (в Европе. — В.Ц.) окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана, во имя того же принципа, взять власть в свои руки, дабы не уступить ее революции. ... Запад исчезает, все гибнет в этом общем воспламенении... И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающего святым Ковчегом эту Империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?

Интересно, что и В. Жуковский (тоже изрядный поэт), писал своему воспитаннику, будущему императору Александру Второму, о предназначении России быть «ковчегом спасения... не для себя одной, но и для других».

И это было для Тютчева не просто страсть к захватам. Фальмерайер, его мюнхенский приятель, законспектировал рассуждения поэта о «Византии, священном городе, патриархе и торговле», о «Киеве — центре и сердце славянства» (в планы Тютчева входил перенос столицы Империи в Киев,

двигаясь по старому маршруту из варягов в греки), и самыми важными словами в записи (по мнению Фальмерайера, они произвели на него самое сильное впечатление) были: «Мы хотим лишь существовать». Здесь действительно ключ ко всему. Это настоящий вопль. Потому что суть дела не в лицемерном пропагандистском трюке, оправдывающем захваты недостатчей «жизненного пространства» (о степени лицемерия суди сама), а дело в «вечности бытия», его смысле и содержании. И вопль сей означает: что я такое?! (У Достоевского: «если Бога нет, то какой же я капитан?») Речь идет об «историческом существовании». И на вопрос о том, что такое русский (и это касается любого народа) следует отвечать: ваш «паспорт» (пятая графа) — это ваша история. А что значит «история»? Оказывается (для Тютчева, христианина, между прочим), «быть» в истории — вопрос геополитический. В этом есть самоопределение русских, их «идентичность» кроется в масштабах их государства. А ведь это, как говорил Д'артаньян, один из лучших: великий, не побоюсь этого слова, поэт и умнейший человек своего времени. И, конечно, — никакой «агрессии», мы мирные люди, «мы хотим только существовать». Вот Данилевский (одно время Тютчев соглашался с его взглядами) написал о Финляндии, отвечая на «укоры» Европы насчет русских захватов («Россия и Европа»):

начнем наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии, — прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения нет, так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянными по пространству России, никогда не жило историческою жизнью.

То есть букашек разных будем давить и поглощать, какая у них там «историческая жизнь». И Тютчев называл Восточную Европу «Новым светом», считая, что *свое «историческое бытие» этот Новый Свет способен получить лишь от той своей части, которая данное бытие завоевала раньше всего, — от России*. И, соответственно, оно будет «не западным», Россия будет иметь право дать ему *свое имя, уничтожая в нем «противоестественные стремления, правительства и учреждения», насажденные под западным воздействием, например в Польше. В этом «органическом» росте «Восточная Европа, уже на три четверти установившаяся», должна обрести и Константинополь — «свое последнее, самое существенное дополнение».*

Надо сказать, что у Чаадаева было другое представление о русской истории:

Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. ...наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера.

А план Тютчева по самоопределению России, по созданию ее национальной идентичности и был — растянуться. Вертикаль времени он переводит в горизонталь протяженности, в размер территории, полагая, что если удерживать большую территорию достаточно долгое время, то получим «историческое существование», получим «идею». Вот его пункты:

1) окончательное образование великой православной Империи, законной Империи Востока, одним словом, России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя;

2) воссоединение двух церквей — восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один: православный император в Константинополе, православный папа в Риме, подданный императора.

И Тютчев смело идет за своей бешеной мыслью до конца:

раз православие — «единственно истинное христианство», значит, весь христианский мир обязан будет стать Россией.

Эту тему (весь мир — Россия) Тютчев развивает и в статье «Россия и Запад», и в стихотворении «Русская география». Вот оно:

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как-то провидел Дух и Даниил предрек.

Любопытно, что поэт, пытаясь прибавить веса своим предсказаниям, опирается на авторитет еврейского пророка Даниила. Так, может, не в географии дело? Это ему в голову не приходит. Но вернемся к священным границам русского царства. Как пишет Цымбурский,

у этого понятия обнаруживается третий предел расширения: развертывание «панславистской» «России-2» в панконтинентальную «Россию-3», «Россию будущего», включало бы следующие промежуточные звенья. Сперва по славянскому следу поглощались онемеченные славянские земли Восточной Германии «до Эльбы» и Австрия, которую Тютчев полагал «подставным именем» славянской расы. Далее, «поглощение Австрии» трактовалось не только в смысле «необходимого для России как для славянской империи восполнения», но и в качестве подступа к подчинению Россией по австро-имперскому следу всей Германии и Италии, «двух земель Империи». Вероятно, в проект входила вслед за «возвращением» Константинополя также оккупация ближневосточных земель Порты — до Нила и Евфрата («Русская география»). И наконец, важнейшей частью утверждения «другой Европы» становилось подчинение папства, а через него учинение контроля над большей частью западного человечества. ... Константинополь восстанавливался как столица средиземноморской христианской монархии. Переворачивался сюжет заключения Флорентийской унии 1439 года: теперь не Запад соблазнял бы посулами помощи обложенную турками Византию, но православный «кесарь» выручал бы папу, осажденного в Риме революцией. При этом над событиями-знаками надстраивался бы второй план еще более фундаментального «сворачивания» времен: возврат папы в православие становился бы жестом отречения Запада от цивилизационной самости, как и аннексией Австрии «снимался» бы исторический факт отдельного существования германской Империи Запада.

Вот и вся формула самоопределения русских, их «самопознание в борьбе» по словам Тютчева. В письме к М. Погодину от 11 октября 1855 года (во время Крымской войны) он писал, что у России «нет исторической жизни» без «воссоздания самостоятельности» для всей славянской расы. Но тут же стоит утверждение еще более сильное:

От исхода предстоящей борьбы зависит решение вопроса, которая из двух самостоятельности должна погибнуть: наша или Западная; но одна из них должна погибнуть непременно — быть или не быть, мы или они.

И Россию, не выполнившую своего предназначения, как вождя человечества, Тютчев проклинает как выкидыш, называет «абортированной» (*avorter*): *Si la Russie n'aboutissait pas a L' Empire, elle avorterait* — «Если бы Россия не достигла Империи, она бы разродилась выкидышем. Точно так же, по свидетельству Шелленберга в его «Мемуарах гитлеровского разведчика», Гитлер говорил о Германии: «Если Германия проиграет войну, немецкий народ докажет свою неполноценность и потеряет право на существование».

Кстати, похожую идею «всемирности» России высказал и Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине (1880 г.). И тоже — никакой агрессии, все по-братски, вот такие мы «отзывчивые» и хотим только существовать:

что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. ...Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей.

Мне это напомнило старый болгарский анекдот советских времен, как болгарин и русский нашли клад и стали обсуждать, как делить будем, русский говорит: давай по-братски, а болгарин в ответ: нет, давай лучше поровну.

Речь Достоевского полна пафосным восторгом по поводу «национального величия» Пушкина и всемирной отзывчивости русского народа:

Пушкин нашёл уже свои идеалы в родной земле; в «Онегине» ...Пушкин явился великим народным писателем; повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, ...великая надежда за русского человека; никогда еще ни один русский писатель, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин; не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов; не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой ... наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов.

Прям сочинение советского школьника: «Пушкин — наш великий народный поэт». Достоевский считает, что идея «всемирности» России была заложена еще Петром:

что такое для нас петровская реформа ...ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки ...поглядим пристальнее. ...Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, к целям будущим, несомненно огромнейшим. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному

воссоединению, ко всеобщему общечеловеческому
воссоединению со всеми племенами великого арий-
ского рода... что делала Россия во все эти два века
в своей политике, как не служила Европе, может быть,
гораздо более, чем себе самой? О, народы Европы и
не знают, как они нам дороги!

Достоевский и «Онегина» попытался подверстать под
свою национальную идеологию: сам-то Онегин у него —
*нравственный эмбрион, от сбивчивой и нелепой жизни на-
шего русского интеллигентного общества, скиталец, ото-
рванный от народа, от народной силы, а народную силу*
у него представляет Татьяна. *Она не испорчена, она, напро-
тив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, над-
ломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской да-
мы.* Но главное, ее девиз:

Но я другому отдана
И буду век ему верна.

Это из той же оперы: стерпится — слюбится. *Высказала
она это именно как русская женщина, в этом её апофеоза.*
И дальше этот гнусный лицемер рассуждает о том, что
нельзя строить счастье на несчастье другого:

чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я
одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно
сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, ни-
кто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы
и не оценят её, но не хочу быть счастливою, загубив дру-
гого!» Тут трагедия. Скажут: да ведь несчастен же и Оне-
гин; одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут
другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в по-
эме: почему Татьяна не пошла с Онегиным?

По Достоевскому Татьяна поняла, что Онегин мораль-
но неустойчив, перекасти поле, а вот она — «опирается на
народ»:

Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла её жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается её душа. Это её воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь... О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают её душу от окончательного отчаяния. И этого немало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею.

Интересно, сколько заработал бы за такое сочинение Достоевский у приснопамятной моей училки Ларисы Абрамовны... Нет иронии — нет ума, кто сказал? Допустим, я сказал. Иронии у Достоевского было не много, но мы его любим не за это. Он, как я тебе уже говорил, — медиум, и по бесноватому своему вдохновению частенько выбалтывает народные тайны. Так Онегина он считает чуть ли не главным героем русской литературы, главным русским «типом» и этот тип оказывается «вечным скитальцем»! Пряма, жид какой-то.

В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. ... Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет.

Русский любит клясться в любви к России, непременно «великой», аж руки заламывает. Хотя тот же Пушкин, со свойственной ему трезвостью мысли, немного сузил этот горизонт любви к Родине:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека...

Пепелище тут, конечно, очаг, а не «спаленные хаты».
У него еще был вариант:

На них основано семейство
И ты, к Отечеству любовь!..

Скитальцу не просто любить «родную землю», тем более, если он ей «не доверяет». Вот и подавай русскому человеку возвышенное наполнение для любви к родине — вселенское предназначение, и если уж не христианство, то просто всемирное братство, коммунизм... Достоевский это прекрасно понимает: *русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится*. И того же Онегина он называет «искателем мировой гармонии», но и метко подмечает при этом: *В этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного!* Их формула жизни дана с несвойственной великому человековеду иронией:

Я молод, жизнь во мне крепка,
Чего мне ждать, тоска, тоска!

Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик.
В общем, по Достоевскому «наше все» с одной стороны

первый из писателей русских, провёл пред нами ...
целый ряд положительно прекрасных русских типов,

найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные, с другой стороны он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сущности, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьём своим...

Не забудем, что и другой великий герой русской литературы, Григорий Александрович Печорин тоже ведь был скитальцем. А Бердяев в очерке «Миросозерцание Достоевского» обзывает скитальцем уже самого Федора Михайловича:

Достоевский любил называть себя «почвенником»... Но ... по сравнению со славянофилами Достоевский был русским скитальцем, русским странником по духовным мирам. У него не было своего дома и своей земли, ... он не связан уже ни с какой статикой быта, он весь в динамике, в беспокойстве, весь пронизан токами, идущими от грядущего, весь в революции духа. Он человек — Апокалипсиса. Достоевский прежде всего изображал судьбу русского скитальца и отщепенца, и это гораздо характернее для него, чем его почвенность. Это скитальчество он считал характерной русской чертой.

И еще надо признать, что переворот Петра создал совершенно обмирщённого русского человека, да и что в нем «русского»-то, если он «всемирный», и «скиталец», или просто «современный человек... //С его безнравственной душой, //Себялюбивой и сухой, //Мечтанью преданной безмерно, //С его озлобленным умом, //Кипящим в действии пустом». И Пушкин добавляет к этому портрету:

Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Достоевский был одним из первых, кто стал раскручивать русские восторги и умиления перед красотой, справедливостью, отзывчивостью, несокрушимой мощью и силой духа великого русского народа, и чем безудержней становился порыв этих самовосхвалений, тем с большей очевидностью зиял в русской душе страх собственной пустоты и ничтожности, о которых, после Чаадаева уже мало кто решался заговорить. Вот и выходит, что для уверенности в себе русскому надо держаться «большой земли», «всемирности» России.

Кстати, Цымбурский нарисовал схему «приливов и отливов» у русских нашествий: когда Россия получает отпор на Западе (как было в Крымскую войну), она устремляется на Восток.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —
В твоей тоске, о, Русь! —

шаманит Блок. Сам-то Тютчев Восток не любил, *хотя и любопытствовал перед смертью о взятии Хивы, но так и не задумался всерьез о совершившемся при нем броске России в Центральную Азию*, восстановить там «стрелой татарской древней воли» власть Великой Орды. Более того, в предсмертный свой год он написал об ужасе и отвращении от этих азиатов: *они производят на меня то же впечатление,*

что производит на человека обезьяна. Но уже Достоевский не был такой разборчивый, в 1881 году с первой в истории России «евразийской» декларацией, он провозгласил, что «в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход». А Блок, взяв эпиграфом стихи Вл. Соловьева «Панмонголизм! Хоть имя дико, // Но нам ласкает слух оно...», и вовсе возгордился «скифской» священной дикостью и своей «варварской лирой»:

Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Письмо десятое

Ты говоришь: кто не любит, тот не знает. Типа мир познается любовью и т.п. Но с таким же успехом можно сказать, что кто любит, тот не знает. Да, любовь многое открывает, высвечивает в объекте своего внимания, но и много бессознательно укрывает в тени: любовь многое прячет. Только чужой скажет тебе правду, в которой ты сама себе не признаешься. Вот в этом фильме «Хрустальный», о котором я тебе говорил, там жертвы насилия просто забывали о том, что с ними произошло, такой вот щит памяти, вернее беспамятства. И о евреях я люблю читать антисемитов. Ро-

занова, например. Вот он пишет М. Гершензону в конце 1912 года (и еврей Гершензон, полагаю, с зоологическим любопытством все это «выслушивает»):

Да, евреи теперь — холодны мне. ... страшны конечно не «пороки» их; кому опасны пороки? В пороках сам сгниешь. Страшны их колоссальные исторические и социальные добродетели. Вот что мне жжет душу. И не могу никуда уйти от этого жжения. Евреи — выживут, а русский народ погибнет — в пьянстве, распутстве, сводничестве, малолетнем грехе [и тут всплывает «малолетний грех», ох, не спроста]. Вы скажете: «пьяному и развратному туда и дорога». Вы так скажете — о чужом. А «родному» и пьяный сын дорог, и распутная дочь — драгоценна.

Вообще, переписка Розанова с Гершензоном очень любопытная психологическая поэма. Главный мотив Розанова — его «боль». А что так ему «жжет и гнетет душу»? А вот — евреи притесняют: *Да разве Вы не помните, что и Куприн тоже сказал: «нельзя двинуться в литературе без еврея»*, — жалуется он Гершензону. А в другом письме:

адвокаты, банки и часовщики: мы — задыхаемся. Задыхаемся мелкой торговой злобою. <...> Боль. Боль и боль. Конечно, евреи умнее (ибо исторически старше) русских и имеют великое воспитание деликатных чувств, деликатных методов жизни — от Талмуда, от законов Моисея, да и оттого, что все дурное и слабое там выбито погромами...

А ведь ты лукавишь, Василь Василич, не мелкой торговой злобою ты задыхаешься (и про литературу не случайно вспомнил, к торговле она не относится), а метафизическим унижением. Ощущением превосходства еврея. Отсюда и страх сблизиться с ним — проглотит.

...великое еврейство могло бы идти параллельно русскому народу, «неся сосуд с маслом на голове» и отнюдь не переходя в русский кабаk и русскую журналистику. И как правительство, так и народ принял бы это еврейство Псалтыри, как мы приняли «яко своего» Давида и отчасти даже Соломона. ...Столпнер мне показал (и как люблю его, прямо незабвенно), что есть «царственное» в тѣперешнем еврее, спокойном, не завидующем, бедном, книжном.

Вот и Мандельштам ощущал себя царем, да еще в Храме:

Развеселился, наконец,
Измерил духа совершенство,
Уверовал в свое блаженство
И успокоился, как царь,
Почуяв славу за плечами —
Когда первосвященник в храме
И голубь залетел в алтарь.

Стихи двадцатилетнего. А через двадцать лет от царского блаженства ничего не осталось, только бессильная ярость безысходного заточения:

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе, и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья.

Это он советским писателям, русским и евреям (Розанов писал Гершензону: *Я думаю, русские евреев, а не евреи русских развратили*). А вот это уже точно — русским: *С собачьей нежностью* («Украшался отборной собачиной// Египтян государственный стыд») *глядят на меня глаза писате-*

лей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? Да все оттуда, Иосиф Эмильевич, все оттуда, откуда они и Вас Осипом величают, на русский манер (в свои записали, выкрали и записали). Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес (не путать с цыганами, с ними у Мандельштама счетов не было, тут «немытая Россия») и столько лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно пытаюсь научить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже. А это уж глобально-историческое высказывание: все, что есть в России — краденое.

Вот опять: если заговорю о Мандельштаме — пиши пропало. Я с ним не наговорился, и не договорился. Я уже признавался тебе, что не люблю Россию. И даже не потому, что вся ее суть в насилии и краже, а потому что вся ее суть во лжи. Вот Солженицын призывал «жить не по лжи»: один из русских прекраснодушных лозунгов. Как народ может жить не по лжи, когда ложь — его субстанция.

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь...

Прищучат тебя... Поэт и сам поначалу все хотел к ней, огромной и тяжелой («тяжесть» у него метафора смерти), прикинуть, слиться с ней, и тем самым, ей в тон, лгал самому себе. Потому что изначально знал: «Россия, ты на камне и крови», написано молодым, двадцатидвухлетним, и тут же возникает новая, честная формула: «Участвовать в твоей железной каре // Хотя тяжестью меня благослови!» Odi et amo. Excrucior. «Ненавижу и люблю. Измучен» (это из Катюлла). И с этой формулой, не в силах разорвать узы языка, он и погиб. *Лишь бы только любили меня эти мерзлые*

плахи. Русская смерть, но не русская жизнь. Его жизнь — сопротивление цивилизации лжи. Делез говорил, что искусство — это сопротивление. А жизнь вообще — сопротивление. Все что не сопротивляется — мертво. Вся история евреев — сопротивление. А в России нет духа сопротивления. И дело не в том, что они «рабы» («кругом рабы, одни рабы»), а в том, что их сломали. В детстве сломали. Это народ сломленный. И поэтому такой злобный и в нем столько агрессии. Это агрессия неутолимой мстительности, незнамо кому... В жестокости русских, часто кажущейся бессмысленной, всегда есть неосознанная месть за поругание. Поэтому русские воюют с вдохновением жестокости: у них есть, наконец, всенародно указанная жертва святых упований мстительности. Именно поэтому «не воюйте с русскими», война для них — мистерия святого насилия. Они упиваются и пьянеют ритуальным освобождением от неразрешимых обид.

Вот куда заводит Мандельштам, и, вообще, еврейская тема. И она всплыла мистически вовремя — все это «особенный русско-еврейский воздух», как писал поэт Довид Кнут. Между прочим, был женат на дочке Скрябина Ариадне, а ее мать тоже, похоже, была еврейкой (Татьяна Шлёцер), так что дочь не случайно приняла иудаизм и стала Сарой. Она погибла в конце войны (была вместе с мужем во французском Сопротивлении, *rière d'à propos*, пьеса на злобу дня), а Кнут в пятидесятые переехал в Израиль — круг замкнулся.

Вот спорят, что де более историю народа определяет: география, социально-экономические условия жизни, или некая, заложенная, как зерно в землю, «тайна крови», «гены», и народ растет, как древо, «по программе», или он как-то сам себя строит, миф за мифом, духом самопознающим? Оно, конечно, всё влияет, все определяет, но мне интересны движения «духа». Потому что он свободен, как ветер, и веет, где хочет (да-да, и ветер не свободен, но все же,

как метафора), и думаю, что именно его веяния определяют будущее, это тот самый «ветер времени», шквал, что несется из рая, как поет Бенъямин. У него, кстати, есть еще один красивый фрагмент (в тех же «Тезисах о понимании истории»), не удержусь и процитирую:

Как известно, иудеям было запрещено гадать о будущем. Зато Тора и Молитвенник наставляли их в воспоминании. Это лишает для них будущее того волшебства, жертвами которого становятся прибегающие к помощи прорицателей. Но из-за этого будущее для иудеев не становится однообразным или пустым временем — в нем каждая секунда может стать маленькой калиткой, в которую войдет Мессия.

Этот миф-нарратиф еще называют «исторической памятью». А историческая память — совесть народа. Я столкнулся с этим выражением у некоего Вяч. Евдокимова, но тот приписывает его «Велесовой книге», чего быть не может, ни слова такого, ни понятия (совесть) «Велесова книга» не знала и знать не могла, она дохристианская, если вообще относиться к ней серьезно, поскольку, скорее всего, это какая-то мистификация: найдена во время Гражданской войны в каком-то разграбленном имении на Украине полковником Федором Изенбеком (потомком Чингисхана, конечно).

О самом Евдокимове мне не удалось ничего узнать (Сеть молчит), кроме того, что он строчит какие-то свои изыскания по истории Руси, уже кучу книг накатал. Но, так или иначе (может, сам Евдокимов и придумал), выражение мне очень понравилось. Он же (вольный стрелок-историк) верно пишет (в книге «Откуда есть пошла русская земля»), что *история, которая нам известна официально, неоднократно, многократно переписана начисто. Почему официальная власть боится особенно своей же истории? Непонятно. А чего ж тут непонятного: если историческая память — со-*

весть народа, то это и значит, что у кого-то совесть неспокойна, вот и «чистят» память ластиком, подтирают летописи. Сам же Евдокимов и разъясняет:

При формировании нового государственного устройства, формируется новая идеология, которая в первую очередь, по прямому указанию властей, зачищает предыдущую историю, как идейно вредную — это прямое преступление перед наукой, мировоззрением, культурой, обществом, человечеством.

Да хрен с ней, с наукой-культурой, здесь преступление перед своим народом. Но — русским властям не привыкать. Так скрывали и скрывают/вымарывают из официозного нарратива — славянское язычество, тесные связи с Хазарией, связи с Византией, симбиоз с Золотой Ордой, преступления царей, ну и т.д. и т. п. По сути, всю историю российскую с каждым ее поворотом выстраивали по струнке, как зеков на плацу, и этому процессу переписывания истории поэт Александр Галич подвел славный итог:

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою...»
Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуи
За ночь снять со станции.

Не хочется отвлекаться, но тема важная: историческая память определяет идентичность, а значит и культуру народа, его «совесть», и т. п. Вот по Яну Ассману («Культурная память») есть «культуры помнящие», а есть — не очень, и даже «культуры забвения». Общая память создает общность. Ассман выделяет, как самый яркий пример «помнящей культуры», народ Израиля:

«Израиль создал и сохранял себя как народ под императивом «Храни и помни». ... Из принципа избранности следует принцип «помни», ведь избранность означает не что иное, как комплекс обязательств высочайшей настоятельности, забвения которых нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому Израиль создает интенсифицированную форму помнящей культуры, так что ее можно было бы назвать «искусственно развитой».

А что он «хранит и помнит»? Соппротивление. Освобождение от рабства. С этого все началось, когда Авраам вышел с семьей из Ура, и учредилось, когда Моисей вывел народ из Египта. Конечно, что помнить, а что забыть, решает общество, или власть в конкретный исторический момент, но если история становится «священной», то тут уж, что написано пером не вырубишь топором. И надо еще уметь записывать.

Но не все общества «обращаются к прошлому», Цицерон утверждал о варварах, что они «живут одним днем» и беззаботно выбрасывают «сегодня» в «пропасть забвения». Вальтер фон Шубарт («Европа и душа Востока») придает подходу к памяти расово-этнический оттенок (Восток-Запад):

Поскольку русский живёт мгновением, он так же мало заботится о прошлом, как и о будущем. Охотнее всего он живёт так, как будто мир начался вместе с ним. Это легко толкает его к пренебрежению традицией... По мнению русского, прошлое надо забыть, в таком забвенье — даже веленье жизни. Это виталистическое возражение против исторического мышления.

По мне, все это ерунда, просто у русских слишком часты крутые повороты истории, и они не успевают гнуться во след линии партии («они не умеют так быстро думать»). Уж не говоря о том, что «русские» — это не такой уж Восток, все-таки христиане. В этом смысле интересно отно-

шение к времени и истории коммунистов, оно, пожалуй, ближе к Востоку: у них время идет к Коммунизму, как трамвай к конечной остановке, вот Оруэлл пишет в своем великом романе «1984»:

История остановилась. Есть только вечное настоящее, в котором партия всегда права.

И еще, напоследок процитирую Ассмана:

В условиях угнетения память о прошлом может стать одной из форм сопротивления.

Письмо одиннадцатое

Я так много говорю про евреев, не потому что я влюблен в собственный народ. Увы, чего нет, того нет. Может, «случая» не было. Все-таки я вырос не в еврейской среде, а в особой, советской, и евреи в этой среде были «советские», криводушные. «Двuruшник я, с двойной душой», как писал о себе Мандельштам. Или я невольно впитал эту антипатию из общей среды, где симпатии (мягко выражаясь) к евреям не было. А криводушными были все. Русские в корне своем, с Крещения, криводушны. Ну а здесь, среди евреев... Первые ощущения были — чуждость. Кое-что сгладилось. Кое-что даже понравилось, в каких-то проявлениях — полюбилось. И, конечно (это главное), произошло «узнавание». Себя в окружающих, окружающих в себе. Во всяком случае, я не чувствую дискомфорта. Но говорить о национальных качествах бессмысленно, неинтересно. Люди бывают разные, и все тут. А интересна история. Ее черты, общая линия. В большом масштабе, когда отдельные характеры почти неразличимы, это — путь жизни. И ее «образ». И это интересно эстетически, если угодно. Ницше, любимец мой, говорил: «Жизнь оправдана только как эстетический феномен».

Однако, хватит «размышлять», вернемся к нашей генеральной линии.

Так вот, когда ушла Россия на Запад, бесповоротно, и стала осваивать всякие «литературы» да «философии», тут и явилось осознание, что Владимир-Креститель, как затем и Петр-Антихрист сотворили с русским народом что-то неладное: заставили отречься от веры отцов, предать ее. Как пишет Кавелин, *находим ли у них* [у европейцев — Н. В.] *что-нибудь подобное тому духовному самоотречению, которому мы предавались то в пользу греков, то в пользу Литвы и поляков, то в пользу западных европейцев?*

По Кавелину *русский и православный в народном понятии — одно и то же*. В принципе, это неплохая основа для самоопределения, вот и еврей-иудей для всех народов до сих пор одно и то же. Но до Крещения русский и язычник означало одно и то же, а после Петра русский это «европеец»? После таких перемен судьбы (не считая «промежуточных», Бердяев, например, насчитывает пять «образов России») ни здоровая вера, ни здоровое самоопределение невозможны. А когда рухнули (в Крымской войне) надежды овладеть Константинополем, Иерусалимом, посадить в Риме православного Папу и таким образом «найти свое место в жизни» по схеме Тютчева, в России случилась растерянность. Да, вновь вошел в пике спор о «пути»: пришпорить в Европу (эти потом ринулись в революцию), или назад, к скрепам? Но где они, скрепы эти, что они? Началось переосмысление основ культуры, веры, общественных институтов, исступленное богоискательство. Произошел настоящий взрыв религиозного творчества, томления и яростного бунта, породивший лавину мощных писателей и мыслителей: В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, К. Н. Леонтьев, Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, В. И. Иванов, Андрей Белый и еще многие и многие. Все это потом назовут Серебряным веком. Это был выброс религиозной лавы, по мучительному неистовству, одержимости и горе-

нию сродни раннехристианскому. Как писал Вяч. Иванов (*«О русской идее»*), *мы решаем последовательно единый вопрос — о нашем национальном самоопределении, в муках рождаем окончательную форму нашей всенародной души, русскую идею*. Но сам Вяч. Иванов, один из самых широких и мощных умов России, на реальные вызовы времени искал ответ в мистике сверхреального, *«a realibus ad reliora»*, в некой соборной «всенародности», во «вселенском служении» и «всемирном деле», считая, что русская национальная идея *несовместима с политическими притязаниями национального своекорыстия; она уже религиозна по существу* («Лик и личины России»). Честно говоря, при всем уважении, раздражают эти беспомощные заклинания: Христос, иго Христово, приятие Христа, и вечные русские завывания о великой (и, конечно, «тайной») судьбе:

Народная мысль не устает выковывать, в лице миллионов своих мистиков, духовный меч, долженствующий отсечь от того, что Христово, все, что Христу враждебно, — равно в духовном сознании, и в жизни внешней. ... Мистики Востока и Запада согласны в том [он их что, опрашивал?], что именно в настоящее время славянству, и в частности России, передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит, — вопрос мировых судеб. Горе, если выронит, не для него одного, но и для всех; благо для всего мира, если вознесет. Мы переживаем за человечество — и человечество переживает в нас великий кризис.

Это, извините, не мессианство русского сознания, а маниакальность и кликушество, когда громко вопиют о собственном величии, очевидно, в страхе перед внутренней пустотой. Той самой «арбузной пустотой России», по выражению Мандельштама. А ведь Вяч. Иванов был насквозь «западный» человек, ученик Моммзена, принявший, в конце концов, католичество, но вот мало ему быть человеком Запада, европейцем, христианином, он еще изо всех сил при-

думывает «некий светоч», который Россия должна «вознести на благо всего мира». Не зря Г. Флоровский назвал его «идейной кокеткой, занятой подделкой религиозной жажды». А просто быть русским, принадлежать своей стае, без всякого ее всемирного предназначения, слабо?

Край исконный мой и кровный,
Серединный, подмосковный,
Мне причудливо ты нов,
Словно отзвук детских снов
Об Индее баснословной».
(«Серебряный бор». 1919)

Вот, можешь же, когда хочешь. И во всем, что касается «критического взгляда», у Вяч. Иванова сплошной, и вполне реальный пессимизм, вот он сравнивает Японию с Россией во время русско-японской войны:

Но поистине, хоть и глухо, сознала Россия, что в то время, как душевное тело вражеской державы было во внутренней ему свойственной гармонии и в величайшем напряжении всех ему присущих сил, наше собирательное душевное тело было в дисгармонии, внутреннем разладе и крайнем расслаблении, ибо не слышало над своими хаотическими темными водами веющего Духа, и не умела русская душа решиться и выбрать путь на перекрестке дорог, — не смела ни сесть на Зверя и высоко поднять его скипетр, ни цельно понести легкое иго Христово.

Любопытно, что утверждая ложность всякой национальной идеи, если она *неправо связывается с эгоизмом народным, или когда понятие нации смешивается с понятием государства*, он опирается на еврейскую традицию.

Не забудем, что и вне государства евреи чувствовали ...всего острее и ярче — свое национальное назна-

чение быть народом священников и дать миру Мессию; вселенская концепция мессианизма у Второисайи возникла в еврействе в эпоху Вавилонского пленения.

Русские мыслители, стараясь воскресить живое религиозное сознание в рамках привычных обозначений, разрабатывали синтетическое христианство: соединяли его с язычеством, с мистикой пола, с «современной философией», с Каббалой, с чем только не. «Полифония» Достоевского это, по сути, многоголосье разнообразного религиозного опыта. Но прежде и упорней всего «работали» с язычеством, здесь был «глубокий голос русской религиозности». В «Бесах», в этой опере русской жизни, партию русского язычества исполняет Хромоножка, для которой «Богородица — великая мать сыра земля». По словам о. Сергия Булгакова в его работе «Русская трагедия»:

Этому излюбленному созданию своей музыки, этой возлюбленной дочери Матери Земли, Достоевский влагает в уста самые сокровенные, самые значительные, самые пророчесственные свои мысли. ... «А помоему, говорю, Бог и природа есть все одно. ...Уйду, я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка?» Сказать ли? Ведь, может быть, она ... живет от «слов, написанных в сердцах язычников», и еще не родилась к христианству. ...Это — дохристианская или внехристианская душа. ...И сама она мученически гибнет... судьбою Кассандры, античной ее сестры.

И одновременно с религиозным возрождением и тягой к языческой мистике, вспыхнул и обострился до боли интерес

к еврейству, невольно сопровождаемый страшной завистью: вот живет среди нас забитый и нищий народ, да что там среди нас — он уже две тысячи лет живет в разных странах от погрома к погрому, от изгнания к изгнанию, и не отрекся от своей веры, от своей национальной идентичности. (О, конечно, велико число евреев отрекшихся, предавших, и даже плюнувших в могилы предков, но национально-религиозное ядро всегда оставалось, жило и возрождалось.) И вот, русское духовное возрождение, начиная с Достоевского, пытается переформатировать русское христианство, вывести его из-под Еврея, из-под Ветхого Завета, и, соединив с язычеством, превратить в «русскую веру». В приведенном выше письме Страхова Толстому, в конце, есть приписка: «Еще давно, в августе, я послал Вам в Ясную еврейскую Библию». Возможно, роковое слово Еврей произнесено здесь случайно, но болезненно острый интерес к Еврею новой, богоискательской русской литературы был не случаен. Вход в терем творчества Достоевского проходит между двух столпов (как в масонских храмах, между двух медных колонн Боаз и Яхин, когда-то стоявших в Иерусалимском Храме): Поругание ребенка (ягненка!) и Еврей. Уже слышу кудахтанье: а причем тут евреи? А евреи в христианской цивилизации при всем. Если возвращаться в христианство — придешь к Еврею. Потому что они у истока этой цивилизации они ее нарратив, а, возможно, и будущее. Е.Н. Трубецкой соглашается с Бердяевым в том, что *Всякий мессианизм коренится в мессианизме древнееврейском. ... Мессианизм есть именно утверждение особого завета между Богом и каким-нибудь определенным избранным народом Божиим.* Но какие же основания есть у Н. А. Бердяева утверждать такой завет между Богом и Россией, — вопрошает он, атакуя идею русского мессианизма (предлагая заменить его идеей русского «миссионизма»): *Одно из двух: или данный народ есть воистину народ-Мессия, единственный в мире народ, призванный явить спасение всему миру, или он не Мессия вовсе.* Отвечает он и всем тем, кото-

рые основывают свой «частный», национальный мессионазм (опечаточка, однако) теорией замещения:

Единственный в мире избранный, мессианический народ отпал от Бога; значит ли это что в Новом Завете какой-либо другой народ вместо Израиля должен стать избранным народом Божиим? На этот вопрос апостол языков отвечает категорическим отрицанием. «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (*Римл. XI, 16–21*).

Только вот «единственный в мире избранный народ» не отпал от Бога, а не принял нового Бога, Иисуса из Назарета, ортодоксального иудея, казненного как «Царь Иудейский», взявшего на себя миссию спасти евреев. Поэтому и просьбы о спасении гойки из Сидона он отвергает с презрением: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»¹.

¹ «Иисус пришел в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступивши, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедши, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь её в тот час». (Мф. 15:21–28).

Но евреи его спасения не приняли, а вот гои увлеклись этим делом и приняли чужого Бога себе (а больше евреям) на голову. Вот и Русь, почти через тысячу лет, обратили силой в новую веру.

И конечно, русский человек не верит, что Иисус-еврей — Бог русского народа. Русскому человеку и библейскую историю пересказали («Книга Голубиная») как историю Руси в стиле русской народной сказки про царя Давида Елисеевича и реку Иордань². А что Богоматерь — еврейка, и все апостолы, так это просто камень на шею и — в Ильмень-озеро святое. И дело тут не в антисемитизме (отвратительное слово, как ножом по сковородке), русский верит в Христа Спасителя Святой Руси, и в Богородицу — покровительницу русского народа и земли русской. И по сей день попы окропляют святой водой пушки, танки и самолеты, построенные для защиты святой русской земли. Истинно верующему истина-правда не нужна, перед ней он закрывает глаза, как маленький ребенок перед страшным видением. И не примет он Спасения от Еврея. Ему нужна «русская вера».

Западу удалось в эпоху Возрождения вернуться в язычество, не отменяя христианство. Но это потому, что западное христианство естественно несло в себе античное языческое начало. В опыте православия этого не было. Серебряный век попытался найти свою, русскую формулу синтеза вер, найти ее в освящении плоти.

² Иордань река да всем рекам мати.
Почему жь Иордань река рекам мати?
Крестился в ней истинный Христос
И купался в матушке Иордань-реки:
Потому Иордань река рекам мати.
Иорасалим город городам мати.
Почему жь Иорасалим город городам мати?
Иорасалим город посреди земли,
Посреди земли, в нем пуп земли.

Об этом Третий Завет Мережковского, и «дионисийство» Вяч. Иванова, и поиски Розановым «глубинной» веры в египетской древности (так нацисты искали в Тибете свою «исконную» германскую веру). Николай Бердяев утверждает:

«Человек нового религиозного сознания не может отречься ни от язычества, ни от христианства, но и там и здесь он видит божественное откровение» (*«О новом религиозном сознании»*).

Вячеслав Иванов, «зачинатель несостоявшейся русской дионисической реформации» по словам замечательного историка русской философии Натальи Бонецкой, считал дионисический оргазм историческим признаком первоначального богочувствования и звал ...вернуться к истокам ради восстановления «полноты христианской жизни». ...в его новом христианстве «пляшут исполненные «пива нового», упившиеся Духа, как вина сладкого», зачарованные древними ритмами Христовы апостолы. И, конечно, для Павла Флоренского, ученика Вяч. Иванова, теоретика Церкви-пляски, богослужения как мистерии, *...обновленное на этом пути церковное тело должно держаться и новыми — в действительности архаическими — скрепами инстинкта, силами крови, мощью libido.*

Тут надо бы «на полях» отметить, что «культура секса» в России и до сих пор языческая. Бердяев считает это частью свойственного русским «стремления к свободе»:

Русская мораль в отношении к полу и любви очень отличается от морали западной. Мы всегда были в этом отношении свободнее западных людей... свобода любви в глубоком и чистом смысле слова есть русский догмат, догмат русской интеллигенции, он входит в русскую идею.

Я тут наткнулся на вирши Джорджа Тербервилля, посетившего в 16 веке Россию, где он свидетельствует об этой свободе (перевод Григория Кружкова):

Беспечный человек, я бросил край родной,
Чтоб землю руссов увидеть, узнать народ иной.
Народ сей груб весьма, живет как бы впотьмах,
Лишь Бахусу привержен он, усерден лишь в грехах.
Пиянство тут закон, а кружка — старшина,

....

Напившись допьяна, ведет себя, как скот,
Забыв, что дома у печи его супруга ждет,
Распущенный дикарь, он мерзости творит
И тащит отрока в постель, отринув срам и стыд.
Жена, чтоб отомстить, зовет к себе дружка,
И превращается в содом дом честный мужика.

....

Осанкою важны, на лицах — строгий чин,
Но склонны к плотскому греху, к распутству без причин.
Средь них, кажись, никто и не почтет за грех
Чужое ложе осквернить для собственных утех. ...

А вот рассказ Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву»:

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия... Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здоровье и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением.

Уж не затеяла ли великая русская литература в канун революции отчаянный реванш за отнятое и поруганное язычество? Все увлекались хлыстовством и предавали чрезвычайное, мистическое значение «тайнам» однополой любви. И у всех в этой языческой мистике пола много надрыва и юродства, а у Розанова еще и завистливое преклонение перед Евреем:

в вас, конечно, «цимес» всемирной истории: т.е. есть такое «зернышко» мира, которое — «мы сохранили одни». Им живите. И я верю, «о них благословятся все народы». Да будет благословен еврей. (*«Апокалипсис нашего времени»*, далее — АНВ).

Розанов углядел в обрезании главную, фаллическую тайну завета с Авраамом:

Чудо и тайна Израиля, тайна его «обрезания», и «субботы», и «очистительных погружений», о чем упоминает Талмуд, как о вещах, за которые евреи «положили душу свою», — ... как было сказано уже Аврааму: «О семени твоём благословятся все народы». История Израиля есть история «святого семени» (*«Сахарна»*).

Розанов чует в Еврее мистический корень мира, а с богоискательством русских ничего не выходит, и в отчаянии Розанов отворачивается от Христа, отвергает его:

Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском, и в том числе русском человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства, и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.

...Апокалипсис. ... Он открывается с первых же строк судом над церквами Христовыми... он рассмотрел посаженное Христом дерево и уловил с неизъяснимой для себя и для времени глубиной, что оно — не Дере-

во жизни; и предрек его судьбу в то самое время, в которое церкви только что зарождались. Апокалипсис — не христианская книга, а — противохристианская. ... Тайнозритель Сам, волею своею и вспомоществующею ему Божиею волею, — срывает звезды, уничтожает землю, все наполняет развалинами, все разрушает: разрушает — христианство, странным образом «плачущее и вопиющее», бессильное и никем не вспомоществуемое. ...«да в чем же дело, какая тайна суда над церквами, откуда гнев, ярость, прямо рев Апокалипсиса» (ибо это книга ревущая и стонущая), ... да — в бессилии христианства устроить жизнь человеческую, — дать «земную жизнь», христианство сгноило грудь человеческую. Евангелие есть книга изнеможений. Христианство — неистинно.

В «АНВ» он пишет в главке с характерным названием «Туфля»:

Неужели же все европейцы, — и первые ученые из них, воображают об евреях и об отношении их ко Христу, что это одно лишь упорство народа, сделавшего ошибку, но затем — ни за что не желающего поправиться?... «Евреи ошиблись, не признав своими же пророками предреченного Мессию, и просто в один скверный день бытия своего они перемешали туфли, одев правую ногу в левую туфлю, а левую ногу в правую туфлю»?..

Между тем, неужели европейцам не приходит на ум, что «иначе переобув туфли», еврей каждый и единолично соделался бы в христианском мире равнозначащ Апостолу Павлу, и вообще — апостолам, которые «все были из иудеев»? И что это обещало бы и исполнило для них обетование Исаии: «будет время, и народы понесут вас на плечах своих»... И это, т.е. исполнение обетования, — настало бы просто «завтра», «завтрашний день»... Неужели же не очевидно, что если власть над целым миром, «которая вот в руках

уже», — евреи не берут, — если корыстные не берут богатства, славолюбивые не берут славы, то ... это — оттого, что взять ее грех. О, — такой особенный грех, который не простится ни в жизни этой, ни в будущей. Это уже не воровство, кража, жадность, лень, что мы делаем каждый в норках жития своего, а что-то планетное, космогоническое, страшное. Перемена судьбы своей. «Обменять душу свою на богатства мира и на власть над миром».

Вдруг последний бедняк-еврей отказывается: «не надо этого!», «не хочу этого!»

Неужели не ясно, что это — не то же, что «туфля».

За то и ненависть Розанова к «жиду», что тверд в вере, потому что в ней он — в естестве своем и его не предаст, хоть убей (вот нацисты и решили убить), это как «быть или не быть» по товарищу Шекспиру — без этой веры в первородство и избранность тебя нет, ты ничто, «ерунда с художеством». И у Розанова, как и у многих других, метафизическая зависть к первородству, и к непоколебимости этой веры — нам бы такую! А вот русский народ согласился «обменять душу», «переменил судьбу», да еще под страхом насилия, да еще его по дороге «обули».

И не прав, получается, Флоренский, что *православный и русский — синонимы*. После Петра русские стали «европейцами». А если бы татары «успели» принять ислам (или Владимир сделал бы другой выбор), то пришлось бы Флоренскому сказать: мусульманин и русский — синонимы (или «иудей и русский — синонимы», не приведи Господи). И все это, как и собственное «небытие» осознанно Розановым и мучительно ему до пароксизмов юродства.

Я выбираю жидка. Сколько насмешек. А он все цимбалит. ...И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии. Они утерли соплю пресловутому европейскому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: «На, болван, по-

молись». Дали псалмы. ... И будь, жид, горяч. О, как Розанов — и не засыпай, и не холодей вечно. Если ты задремлешь — мир умрет. ... Русские в странном обольщении утверждали, что они «и восточный, и западный народ», — соединяют «и Европу, и Азию в себе», не замечая вовсе того, что скорее они и не западный, и не восточный народ... Между Европой и Азией мы явились именно «межеумками», т. е. именно нигилистами, не понимая ни Европы, ни Азии. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это действительно «внесли». ... Но принесли ли мы семью? добрые начала нравов? Трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, как страшно сказать... Тогда как мы «и не восточный, и не западный народ», а просто ерунда, — ерунда с художеством, — евреи являются на самом деле не только первенствующим народом Азии, давшим уже не «кое-что», а весь свет Азии, весь смысл ее, но они гигантскими усилиями, неутомимой деятельностью становятся мало-помалу и первым народом Европы. Этого то и не сказал никто о них, т. е. «о соединительной их роли между Востоком и Западом, Европою и Азией».

Приведенные цитаты — из главки с характерным названием: «Почему на самом деле евреям нельзя устраивать погромов?» А написан «АНП» в 1918 году, в разгар погрома-разгрома старой России, уходящей, как град Китеж, под воду, к забвению. Розанов тогда голодал (через год и умер от голода). Ужасно его последнее письмо Гершензону с мольбой о помощи:

Родной, близкий Г., помогите, пощадите, соберите помощь, подписку. Нет сил, качка воды копейка 1/2 ведерками. Думал, лучше с коромыслом. Не сообразил: ведра покачиваются, все — неустойчиво, и ведра шатают тело, ноги подкашиваются. Бросил, а коромысло стоило 3 р. Голодно. Холодно. ... Сын уже погиб, 42-й день, от «заработавшись» и простуды. Собираю перед

трактирами окурки: ок. 100 — 1 папироса. Затанусь. И точно утешен. Со мной больная жена и 2 дочурки, 23 лет и 19 лет. Не дают папке работать: но я стараюсь. 23 лет — бессильненькая, а 19 — уже года 4 страдает почками, и ей вредно качать воду и носить дрова.

Гершензон таки помог: обратился к Горькому, и Горький послал какие-то деньги. Гершензон потом, после смерти Розанова, и семье его помогал, посылки организовывал.

Розанов порой отрицал Христа («во Христе прогорк мир»), порой пытливо рылся в «юдаизме», порой бросался в язычество. О его переписке с о. Павлом Флоренским Наталья Бонецкая пишет («День и ночь Серебряного века»): *Первое «ключевое слово» переписки — фалл, второе же, равномогущее ему, — жид.* Эту переписку глубокомысленная исследовательница называет «адекватнейшей манифестацией самого существа эпохи»:

Животный инстинкт как таковой — присутствует ли он в звере или в человеке — вот основной предмет переписки. Розанов и Флоренский предстают в ней как философы инстинкта, созерцатели фалла, который в его животной физиологичности видится оккультной тайной, средоточием «всемирно-исторического» могущества, — который, более того, Розановым прославлен и возведен в ранг божественной творческой силы.

Флоренский интересовался каббалой, и вместе с Розановым был уверен, что еврейство владеет тайной зарождения жизни. Розанов писал Флоренскому 16 апреля 1914 г.:

Я уверен, что из Египта они вынесли настоящую тайну синтеза «белковых веществ» <...>. Хочется все у них вынюхать, вылизать и проглотить, чтобы ПОЗНАТЬ».

Естественно, оба были уверены в ритуальном характере убийстве мальчика Ющинского («дело Бейлиса»), и хотя суд оправдал Бейлиса, оба жаждали крови. Флоренский пишет:

кровь священна и таинственна, и ритуальное убийство — великое дело. И продолжает: Между нами будь сказано, пока есть в мире еще ритуальные убийства — мир не совсем умер, не совсем опозитивел, не совсем выдохся. Смерть Ющинского — ужасная трагедия. Но трагедия эта очищает мир и благотельно волнует сердца. Еврей, вкушающий кровь гоев, мне гораздо ближе невкушающего.

А в письме от 26 октября 1913 г. он сетует:

Что Вы сделаете с жидовскими адвокатами? <...> Заметьте, адвокатство, вообще «просвещенность», — это они изобрели. Борьбу с церковью католической — это они подняли. Гуманизм вытек из Каббалы. <...> Они учили нас, что все люди равны, — для того, чтобы сесть нам на шею; учили, что все религии — пережиток и «средневековые» <...>, чтобы отнять у нас нашу силу — нашу веру...

Бонецкая считает, что термин «антисемитизм» неуместен в связи со взглядами на еврейство Флоренского и Розанова: *этот термин слишком плосок и слаб, чтобы передать всю шокирующую, воистину сатанинскую злобу — духовную преступность и, главное, идейную ложь этих взглядов...*

Основной причиной этой «сатанинской злобы» я считаю «комплекс метафизической неполноценности». В Европе он слабее, потому что там, я уже писал тебе, кроме идейной платформы христианства есть еще идейная платформа греко-римской античности, а во время и после Возрождения она оказалась основательней, чем христианство, а когда

«Бог умер», то и единственной. А у русских и от язычества, кроме плясок у костра и половой распущенности ничего не осталось: ничего не написано и ничего не построено. И получается, что с «разоблачением» христианства русский человек ощущает себя религиозно разграбленным. О русском проекте «назад к язычеству» Бонецкая пишет:

проект жизни Флоренского заключался в возрождении язычества — во внесении языческого мироощущения в религию, науку, этику. Флоренский — представитель нового религиозного сознания, принимающий эстафету от старших — Мережковского, Вяч. Иванова, Розанова, которые в свой черед были наследниками идей неоязычника Ницше. И своеобразие Флоренского в том, что языческое начало он первым попытался привить православному культу — посредством конципирования Церкви в качестве магической мистерии.

Как Вяч. Иванов написал о русском человеке еще в 1890 году:

Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Вяч. Иванов предложил еще один популярный мистический проект — «соборность».

По словам Аверинцева («Лик и личины России») речь об «осознании трансперсонального тождества живущего со всеми живущими», или, как писал Вяч. Иванов:

И как Душа Земли едина,
Так будет Человек един.

У Мандельштама:

...И все хотя увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

Иванов смело добавляет к соборности — «во Христе», но пытается установить купол этой соборности на обновленной мистике вселенского братства. Аверинцев считает, что здесь «легко почувствовать отчужденность взгляда», даже «холодность»: *взгляд на свое, на «родное» откуда-то очень издали — из «вселенского».*

Но возродить язычество, тем более, привить православному культу новую мистику не удалось. «Загадка без разгадки: // Кто возвратится вспять, // Сплясав на той площадке, // Где некому плясать?». Не удалось, потому что не успели? Или просто: выбрать легче, чем смастерить, и народ выбрал что попроще: все люди братья и отнять-поделить. В этом упрощении вожди Революции, да и вся почти «интеллигенция», вдохновлялись опытом «рационального насилия» Петра и всех его «инженерных» проектов по духовной и антропологической перековке. Мережковский, мечтавший о религиозном возрождении в огне революции в духе самодельного «Третьего завета», написал своеобразный гимн Петру (не важно де «чудо он или чудище»), как отцу «великой русской интеллигенции», явившейся «новым сошествием Духа Святого» и «Христом Грядущим», вот только название для этого гимна взял странное — «Грядущий Хам»:

...первый русский интеллигент — Петр. ...Единственные законные наследники, дети Петровы, — все мы, русские интеллигенты. Он — в нас, мы — в нем. Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять-таки решать не берусь. Он слишком родной мне, слишком часть меня самого, чтобы я мог судить о нем беспристрастно. ... И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция...

Думаю, что секрет популярности Петра в том, что на своем «пути на Запад» Россия добилась наибольших внешних

успехов, в борьбе с тем же Западом. А Запад и сегодня считается успешным примером общественного развития. Справедливо сие, или нет, скоро узнаем. Похоже, что он не «развалится», как еще мечтали при Тютчеве, а просто развеется. И тогда получится, что Россия гонялась за ветром.

Письмо двенадцатое

Ну, вот и возмущение, долго же ты сдерживалась. И приговор: очернительство. А вот то, что я русских «понять не могу» — это уже, прости, пошло: это потому что не «коренной»?

У Розанова, кстати, есть любопытный в этом плане очерк «Левитан и Гершензон», где он в начале расточает им похвалы (*берешь книгу — и залюбуешься, смотришь пейзаж и восхищаешься*), а потом заключает, что *Русь не кровная им, не «больная сердцу»*. И дальше (как всегда глубоко копает):

Это мастерская стилизация русского ландшафта и то же — истории русской литературы; и еще глубже и основнее — стилизация в себе самом — русского человека. Мастерство сказалось в том, что все точно и верно, но все несколько мертво, не оживленно. Нет боли, крика, отчаяния...

Почти вся поголовно русская интеллигенция (и немецкая тож) утверждала, что евреи русскую/немецкую душу понять не могут, чужие-с, и пусть не лезут в «нашу» литературу, живопись, музыку и пр. И здесь не только борьба с конкурентами: с еврейской журналистикой, еврейской физикой и т.п., здесь все тот же детский страх, что «нутро переделают» на свой лад, искусство-то сакрально! А что если душу перекуют? Кстати, немцы для русских, хоть и чужие, но «понимают», и вообще, нехай лезут, они не перекуют, а подкуют, для пользы. Как в фильме «Брат» герой, в ответ на итог брата «Теперь только русские люди торго-

вать будут», спрашивает: — «А немцы?» У Миши Файнермана есть чудесный стишок: «В войну народ не любил немцев. // А вообще-то их любят».) Мандельштам, значит, России не понимал, просто не мог понять по определению. Катился бы в свою Палестину, там бы и выпендрился. А то ведь еще «на нашем горбу» мировую славу себе зарабатывают. Гады.

Ладно, шучу я. А себя я с удовольствием признаю «чужим» России. И что? Русским можно писать о монголах, китайцах, французах, о тех же евреях, без претензий на свояков, т. ск. изучающе. Так почему мне, пусть и чужому, нельзя? Хотя с чуждостью России мне и самому не все ясно. Ведь пишу я по-прежнему по-русски, а язык — пусть не образ мысли, но — ее метод. И всю культуру, от русской колыбели, до мировых океанов, я познал и познаю по-русски. То есть, кто я вообще в культурном плане? Ну ладно, я — еврей, израильтянин-упёртый сионист, но как это уживается с русской культурной основой? И должен сказать, что никакого «внутреннего дискомфорта» я не чувствую, даже наоборот, мне такое раздвоение нравится. То есть «русская культурная основа» мне не мешает, значит, есть в ней достаточная ширь, вместительность? Но при этом и «по культуре» я все-таки не русский, и чем дальше, тем в большей степени мне интересны дела еврейские (в культурном смысле). А русский фундамент только помогает, дает объемность тем вещам, которые я «сканирую», дает возможность видеть амбивалентность явлений. Отсюда, кстати, и мой интерес к Мандельштаму. Но тогда, что вообще значит быть евреем, или быть русским? Можно ли отождествлять себя с каким-то народом, если не отождествляешь себя с его культурой? И если говорить о русских, а для них это особенно болезненный вопрос, то с какой именно «русской культурой», вот ты, например, себя отождествляешь? И с каким, вообще, «народом»? Особенно на фоне войны Москвы с Киевом...

Кстати, один знакомый «православный», прочитав, тоже сказал: «не нужно об этом писать». Он не сказал, что мне, чужаку, не нужно (хотя, возможно, и имел это в виду), просто не нужно. И еще добавил: если раны теревить, они не затянутся. Вот тут я, знаешь, совсем не согласен. Я, вообще, не фрейдист, но старика Фрейда уважаю, именно за главный его прием: обнажение, обрезание. Обрежьте сердце свое навстречу правде. Вскройте интимное свое, вытащите наружу, это больно, как роды, но это облегчает, даже исцеляет — освобождением. А вот Кэти Кэрут, у нее есть очень интересные книжки «Невостребованный опыт: травма, нарратив и история» и «Травма: исследование памяти», как раз фрейдистка, и она пишет:

интуиция Фрейда в отношении травмирующего опыта и его страстная увлеченность им связывали реакции на травму с невольным повторным переживанием события, которое просто невозможно оставить в прошлом. Событие нельзя оставить в прошлом, потому что разлом в переживаниях рассудка происходит слишком резко, что не позволяет рассудку полностью осознать событие. Будучи похоронено в бессознательном, событие переживается иррационально, в кошмарах и повторяющихся действиях пережившего травму человека.

Коллективная травма (это не просто увеличенная личная травма, так же как коллектив — не просто сумма его членов) «лечится» только культурой этого коллектива. И все возвращается на круг травма-память-культура-идентичность, тот самый круг, на котором, если его раскрутить, можно не удержаться. Есть такой американский «культурсоциолог» Джефффри Александер (Jeffrey C.Alexander), и он, считая, что *в ходе поисков национальной идентичности в основе истории отдельных народов оказывается причиненный вред, который вызывает к возмездию*, рекомендует (статья «Культурная

травма и коллективная идентичность») для восстановления коллективного психологического здоровья устранить социальное вытеснение и вернуть память. А это — задача культуры, включая публичные мероприятия, направленные на сохранение памяти о событии и даже общественно-политическую борьбу. Цитирую:

Отклонить или проигнорировать травматический опыт — неразумный выбор, так же, как и придерживаться отношения доброжелательного пренебрежения или циничного безразличия. Сам факт того, что разрушительное событие произошло, означает, что появляются новые возможности для нововведений и перемен.

Этот Александер очень толково излагает симптомы и последствия коллективных травм, так и хочется цитировать:

Вместо того чтобы задавать направление для познания и рационального осмысления, травмирующее событие искажается в воображении и памяти актора. Попытки правильно распределить ответственность за это событие и старания отреагировать на травму так, чтобы ее преодолеть, терпят неудачу из-за того, что травма вытеснена. ... Таким образом, травмирующие чувства и ощущения проистекают не только из первоначального события, но и из тревоги, вызванной необходимостью подавлять переживание этого события. Травма будет преодолена не только тогда, когда исправится положение дел в мире, но когда исправится положение дел внутри «Я». Согласно такой точке зрения истина может быть вновь обретена, а психическое равновесие восстановлено только в том случае, «когда возвращается память», как выразился однажды историк, исследователь Холокоста Сол Фридландер (книга «Я возвращаю вам память»).

Продолжу, люблю толковые разъяснения (профессор, как ни как, не какая-нибудь интеллектуальная шантрапа вроде меня):

Событие получает статус травмы, только если происходит резкое смещение упорядоченных, привычных смыслов сообщества. Именно смыслы обеспечивают чувство шока и страха, а вовсе не события сами по себе. Оказываются ли структуры смысла нестабильными и поврежденными или нет, это происходит не в результате события, а вследствие социокультурного процесса. В начале такого процесса должно быть заявление о некоем глубочайшем увечье, крик об ужасающем оскорблении святыни, нарратив устрашающе разрушительного социального процесса и требование эмоциональной, институциональной и символической компенсации и восстановления.

Так может быть, не зря для Розанова «боль, крик и отчаяние», как печать «русский» в паспорте? Вот и «истина дороже родины» Чаадаева — именно такой крик. И «Как сладостно отчизну ненавидеть» не еврей написал, а русский дворянин Владимир Сергеевич Печерин, бежавший от родины без оглядки и умерший в Ирландии, капелланом при католической больнице.

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

А вот известный и строго наказанный властями (аж смертной казнью, но ее потом заменили, как Достоевскому) Александр Радищев «гонит чернуху»:

Плетьми или кошками секли крестьян сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне

или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. <...> Кто не знает, с какою наглостью дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. <...>

— О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...

И уж коль зашла речь о пророчествах, то все пророчества поэтов о конце России — «крик об ужасающем оскорблении святыни». Разве Лермонтов не кричит?

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел...

Или Тютчев, певец русского империализма, вдруг плачет:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты облачишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда...

Ну, если крика боли и отчаяния в моих писаниях нет, то и — слава богу, значит, я благополучно отгородился, отчужден. Хотя одна вещь все-таки осталась, так и быть, признаюсь, — любовь. И я знаю, что мне любо в русских — печаль. Такой вот во всем, на дне, всегда — корень печали. А в литературе их, в искусстве вообще — исповедальность. Розанов в том же «АНВ» пишет:

среди «свинства» русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — то же. И вот эту чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек.

Однако сигнал твой принят: я закругляюсь. Мы уже собственно подошли к концу, к «нашему» времени, так что перейду «стремглав», к последней главке: Революция, Советская власть, и «новая» Россия.

Многие сторонники революции полагали, что она пришла довершить вестернизацию Петра, окончательно сделать страну «западной» по культуре, воплотить революционные устремления Просвещения и Великой Французской революции, включая победоносный разгром церкви, религиозных институтов вообще. Но все это ерунда: революция — это месть. А лозунги — дело второстепенное, оформление. Мечь вспыхнула, когда власть ослабла: после Крымской войны. Это становится особенно ясно, когда читаешь неистовые строки еще первого поколения радикалов: народников-шестидесятников, в основном разночинцев, не принадлежавших «системе власти», белинских, чернышевских, чувствуешь их бешенство, оголтелость, готовность спать на гвоздях, Белинский признается:

Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности... Я понял французскую революцию, понял и кровавую ненависть ко всему...

Потом пошли совсем крутые: ткачевы, нечаевы, добролюбовы, писаревы, *все должно быть поглощено единственным, исключительным интересом, единственной мыслью, единственной страстью — революцией*, пишет Нечаев в «Катехизисе революционера». У них было два знамени, два идола: Свобода и Правда. «Свобода» означала — ненависть к власти (отсюда и русский анархизм), которая веками измывалась над ними, как над завоеванными и опущенными, а «Правда» означала — правду о прошлом, не гром побед над разными «врагами», а правду о многовековой жизни в рабстве, унижении, поругании. И все это означало — мы хотим мести поработителям. (О жажде мести национальных меньшинств я и не говорю.) И с каждым поражением в войне (Крымская, Японская, Первая Мировая) Власть слабела, а страсть мести росла, набухая религиозным воодушевлением: всемирная революция, всеобщее братство, свободная любовь. Революционеры мыслили религиозно, а религиозные — революционно (как Мережковский). «Да, сей пожар мы разжигали», напишет Вяч. Иванов в 1919 году. Но — ирония истории, или историческая справедливость? — революционная интеллигенция, стоявшая во главе революции, «мечтанью преданная безмерно», была сметена русской глубиной с дубинкой. Как будто прорвало канализацию, сработанную еще рабами Рима, и всплыла какая-то дохристианская, азиатская рожа неясного происхождения и мутной веры. Но в итоге русскому народу в третий раз перебили хребет веры, ничего не оставив от великих скреп: самодержавие пало в одночасье, русское богоискательство увенчалось не только разгромом церкви (храмы разрушили, священников истребили), но и принятием новой веры — теперь никаких вер/религий вообще быть не должно, кто в Бога верует, тот либо «темный», и с ним надо проводить учебно-воспитательную работу, либо враг. Верить разрешалось в то, что все люди братья, и имущество должно быть

общим, ну и «в науку». Народность русскую, как и государство ее, тоже отменили, и всех поголовно записали в новую общность: «великий и могучий советский народ».

И вот рушилось все, разом, царство и церковь. По-пам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство. ... стали вопиять, глаголать и сочинять, что «церковь Христова и всегда была, в сущности, социалистической» и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий «принудил нас лгать». ... Русь слиняла в два дня. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска... Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего. Остался подлый народ, из коих вот один, старик лет 60 «и такой серьезный», Новгородской губернии, выразился: «Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Вот и Достоевский... Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и «Война и мир». ...и все сводится к Израилю и его тайнам. Печаль не в смерти. «Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел». Если нет смерти человека «без воли Божией», то как мы могли бы допустить, могли бы подумать, что может настать смерть народная, царственная «без воли Божией»? И в этом весь вопрос. Значит, Бог не захотел более быть Руси. Он гонит ее из-под солнца. «Уйдите, ненужные люди». Да уж давно мы писали в «золотой своей литературе»: «Дневник лишнего человека», «Записки ненужного человека». Тоже — «праздного человека». Выдумали «подполья» всякие... Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя. Значит, мы «не нужны» в подсолнечной и уходим в какую-то ночь. Ночь. Небытие. Могила.

Розанову падение старого мира выглядит фарсом:

Мы умираем как фанфароны, как актеры. «Ни креста, ни молитвы». И странно. Всю жизнь крестились, богомолились: вдруг смерть — и мы сбросили крест. Просто, как будто православным человеком русский никогда не жила. Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой. Россия похожа на ложного генерала, над которым какой-то ложный поп поет панихиду. На самом же деле это был беглый актер из провинциального театра. ... Ты нам трагедий не играй, а подавай водевиль.

Но одна шестая часть суши, организованная жестокой дисциплиной в военный лагерь, осталась. И она бросилась исполнять заветы Тютчева — строить всемирное Царство: освободить народы от эксплуатации, посадить в Риме красного Папу и дать, наконец, смысл и содержание великой русской истории. Так курица, отруби ей голову, продолжает куда-то бежать изо всех сил.

Но когда стальной вождь умер и террор стих, все расплозлось-развалилось. Русь снова распалась, а недораспавшаяся в очередной раз застыла в растерянности: исчезли ориентиры культурной памяти, цивилизации, непонятно, на какой идее, вере, культурной основе строить национальную общность. А знаменитая «русская интеллигенция» сидит молодящейся старой блядью у разбитого корыта.

Знаешь, о советском времени и о «новой» России мне что-то расхотелось говорить.

Приведу в заключение фрагмент из статьи Георгия Федотова «Будет ли существовать Россия?», текст ее был опубликован в 1929 году в Париже, и в нем много здравых мыслей и даже пророческих видений, но, увы, и много обычных для русского мыслителя мечтаний и верований, лапидарно выбитых на русских скрижалях Федором Тютчевым: «А Россию можно только верить». В наше время звучит несколько иронично...

...Россия становится географическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой. Одни — интернационалисты, которым ничего не говорят русские национальные традиции; другие — вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой традиции — от противостояния исламу, от противления Чингисхану, — чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий. ... Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России. Иные из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама. ... Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый этнографический материк. ... Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев — малороссов, или украинцев. (И это самый болезненный вопрос новой России.)

Эпилог

Ты молчишь, а значит, все окончательно испорчено. Я вот перечитал и... — сумбур вместо музыки. Но переделывать не хочется. А хочется продолжения разговора. Так бы и нанизывал, перебирая залежи, все что под руку попадется. Вот, под занавес, посылаю тебе сканеры старых фо-

ток, сделанных во время нашего путешествия в Новый Иерусалим, некоторые совсем выцвели, но как ни странно, стало даже интересней, как будто откуда-то ударил залп света, может, это тот самый шквальный ветер из рая, который бьет нам в лицо, как у Бенямина... И еще — старый стишок, помню, что написал его после этой поездки.

Один поэт сказал, что скудной
Не хватит крови растопить
Сей полюс вечный. Безрассудно
На гору камешки катить.
Остыл и наш сердечный жар,
Под бесконечными снегами,
Где Млечный путь как легкий пар
Висит над снежными стогами.

А хорошо, с царями в ссоре
За вольнодумные стихи
Да молодечества грехи
Катить себе назоном к морю,
Где ждут войны и ищут славы,
Иль, на худой конец, любовь,
На поединках, для забавы,
Беспечно льют младую кровь,
Как льют вино на архалуки
В бесчинстве вольных кутежей,
Где зреет среди смертной скуки
Зерно грядущих мятежей...

Есть в мятеже восторг паденья,
Что говорить — душа права.
Но века вызубрив ученье:
Не звери люди, а трава,
Мы с юных лет презреньем к бунту
Врачуем страх — завет отцов,
Страны суровой ставших грунтом
Под косами крутых косцов.

.

Поплыл в окне на косогоре
Полуразрушенный собор.
За ним село явилось вскоре:
Трепал голодный ветер-вор
Знамена в цвет засохшей крови,
Антенны — словно крестный ход,
На покосившемся заборе
Рядком расселось воронье,
В войну играет пацанье,
Еще не ведая о горе —
Вступает в юбилейный год
Московия. Глубокий тыл.
Мечта чего-нибудь отведать.
Однообразен и постыл,
И тянется унылым бредом
Пейзаж. Зевай, считай столбы.
Кругом рабы, одни рабы.

Дитя периода застоя,
Как все, пеняя на устои,
Я умиляюсь старине,
Как этой сизой пелене.
Но не способен ни свободу,
Ни милость к павшему воспеть.
Мне только страшно околеть
Под этим мрачным небосводом.

.

Декабрь промозглый, скользкий, грязный.
Вид за окном как неотвязный
Мотив осторожной песни. Тучи
Плывут, как баржи по реке.
И мелкий-мелкий град сыпучий
Вдруг на шоссе идет в пике.

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо первое	5
Письмо второе.....	11
Письмо третье.....	20
Письмо четвертое	26
Письмо пятое	34
Письмо шестое	42
Письмо седьмое	54
Письмо восьмое	69
Письмо девятое	78
Письмо десятое	96
Письмо одиннадцатое.....	104
Письмо двенадцатое	122
Эпилог	132

Наум ВАЙМАН

ШКВАЛЬНЫЙ ВЕТЕР
ИЗ РАЯ

Формат 66x84 ¹/₁₆
Усл. печ. л. 8,5
Подписано в печать 14.12.2025
Печать офсетная

Printed in Germany